

Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России.

Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères français et de L'Ambassade de France en Russie.

Pierre Guyotat ASHBY suive de SUR UN CHEVAL

Пьер Гийота ЭШБИ

KOLONNA Publications МИТИН ЖУРНАЛ Пьер Гийота. Эшби. Роман.// Перевод с французского Михаила Иванова – Тверь: KOLONNA Publications; 2006

Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства Иностранных Дел Франции и посольства Франции в России.

Ouvrage realisé dans le cadre du programme d'aide à la publication «Pouchkine» avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères français et de l'Ambassade de France en Russie

Права получены при содействии и с разрешения The Wylie Agency и литературного агентства Synopsis.

В оформлении обложки использованы

ISBN 5-98144-087-2

Редактор: Дмитрий Волчек Корректор: Ольга Кобрина Обложка: Виктория Горбунова Руководство изданием: Дмитрий Боченков Макетирование: Елена Антонова

©Éditions du Seuil, 1961, 1964, 2005

©Михаил Иванов, перевод, 2006

©Kolonna Publications, 2006

©Митин журнал, 2006

KOLONNA Publications (ООО «Колонна пабликейшнз»), а/я 24048, Тверь, 170024, Россия. e-mail: kolonna@kolonna.org www.mitin.com/kolonna

Пьер Гийота

ЭШБИ

Перевод Михаила Иванова



Предисловие к французскому изданию 2005 года

То, что Пьер Гийота – один из лучших писателей современности, сегодня общеизвестно. От «Могилы для 500 000 солдат» до «Потомств» в своих произведениях, до сих пор изданных не полностью, он задумывает и строит свой мир, создает свой язык, свою манеру речи, предлагает нам жестокий, нежный, порочный, а порой и пророческий взгляд на мир, порождает героев – абсолютно свободных или лишенных всех прав, включая право на жизнь, разворачивает перед нами космическую драму зарождения и разрушения Вселенной.

Но начало творческой карьеры Пьера Гийота восходит к более раннему времени. В 1960 году двадцатилетний писатель посылает свой текст «Темный Валентин» Жану Кайролю, в то время редактору журнала и книжной коллекции «Экрир». Кайроль оценил дарование молодого автора и привлек его к своему изданию. В десятом номере журнала за 1961 год,

а затем и отдельным изданием тиражом в двести экземпляров появляется повесть «На коне».

Оценивая эту книгу, можно подчеркнуть свежесть, живость и мощь авторской речи, свободу и новизну изложения, выверенный вкус к полифонии и противопоставлению точек зрения. Иногда при чтении приходят на память ранние фильмы Трюффо. Воспитание чувств, порыв к свободе, открытие Парижа и кино, Нина, которую страстно желает невинный герой. «У молодых людей, влюбленных по-настоящему, воображение порой отвергает действие. Воображение опережает действие, делая его бесполезным».

В первой версии «На коне», написанной летом 1960 года, отец Пьера Гийота, работавший на шахте, обнаружил намеки на события в их семье и потребовал от сына убрать свою фамилию с титульного листа книги. К моменту публикации переписанного, по словам автора, в духе «семейной разрядки» текста, Гийота достиг совершеннолетия и был вправе издавать его под собственным именем. Однако он воспользовался псевдонимом Дональбайн, позаимствованным у одного из героев Шекспира: в «Макбете» Дональбайн – сын Дункана,

короля Шотландии, отказавшийся мстить за убитого отца и взойти на королевский трон.

В начале 60-х годов Пьер Гийота пишет множество оставшихся неизданными текстов, миниатюр, прозаических фрагментов с пометкой «расширить или сократить», которые мы надеемся однажды увидеть изданными. В июне 1964 года из печати выходит роман «Эшби». На страницах, наполненных свежестью восприятия жизни, свободой изложения, перекличкой времен, сочетаются ложный классицизм и подлинная новизна. Можно назвать крестными отцами романа Томаса Гарди, Генри Джеймса, Фолкнера. Но это уже подлинный, ни на кого не похожий Пьер Гийота.

Между «На коне» и «Эшби» в интеллектуальном и творческом формировании писателя произошел перерыв, связанный со службой в армии, двадцать месяцев из которой приходятся на Алжир, а три месяца – на тюремное заключение за «пособничество дезертирам, моральное разложение армии, хранение и распространение запрещенных печатных изданий».

Как раз перед этим заключением в командирском джипе в Большой Кабилии Пьер Гийота набросал пролог «Эшби», несколько листков

которого были спасены от конфискации, то бишь от уничтожения, его товарищами, которых он успел предупредить в момент ареста. Один из героев романа, Дональбайн, мельком появляется в Алжире среди солдат, участвующих в войне, временные границы которой сдвинуты (поскольку история лорда Эшби заканчивается в 1952 году) и которую автор оценивает взвешенно и точно: «Ужасная война, которую он вел сознательно, переполняла его ненавистью к солдатам и презрением к тем, кто над ними насмехается». Это «сознательно» относится, прежде всего, к самому автору. Во всем остальном тексте «Эшби» нет ни следа от опыта, вдохновившего его на создание «Могилы для пятисот тысяч солдат», романа, редактированием которого он занимался в то же время. Действие «Эшби» происходит в замке на юге Шотландии – отдаленное эхо пребывания автора в 1955 году на севере Англии, где он пережил серьезное увлечение юной бретонкой.

Следует отметить, что, несмотря на то, что первые две книги давно разошлись и долго (более сорока лет!) оставались невостребованными, автор никогда не отрекался от них и всегда указывал в своей библиографии. Некоторые

сцены «Эшби» предвещают будущий взрыв: чрезмерная жестокость по отношению к туземцу во время колониальной войны, свальное совокупление замковых слуг после смерти Друзиллы, убийство Ангусом Эдварда и «изнасилование» его трупа Кармиллой.

Востребованный сегодня более чем когдалибо, Пьер Гийота всецело руководствуется двумя параграфами из книги «Жить»:

«Последний человек на Земле будет рабом. Нет гонки вооружений, есть только гонка рабов. И хозяином последнего человека будет политик. Пол меня не интересует. Я политик, я загоняю абсолютного раба. Последний человек, последний раб умрет с моим лживым, безумным языком в своей глотке. Проституция, вольная или невольная, осознанная или не осознанная для меня всегда – рабство.

Мое безумие состоит в попытке разработать музыку языка, с помощью которого последний человек, последний раб сможет объяснить своему хозяину, политику, что у него есть силы и средства, чтобы вернуть в свою собственность свое тело и свои гениталии, но у него нет ни сил, ни средств, чтобы стать собственником своих мыслей. Мысли не покупаются и не продаются. Ни один хозяин не может быть одновременно собственником гениталий и мыслей об этих гениталиях».

Не будем забывать эти слова, унесем их с собой, в своем сознании, навстречу злому ветру. Ими с недосягаемой глубины гласит твердое ядро свободы, ими же написаны два замечательных текста, выходящих сегодня в свет.

Бернар Комман Февраль 2005

HA KOHE

БАБУШКА

Может быть потому, что солнце вконец ослепило меня, но скорее оттого, что я хотела увидеть их бегущими, я открыла глаза и в самом деле увидела, как они бегут к сараю между холодными пыльными кустами самшита, первый – Роже в черной блузе с красным воротником и в черных галошах, за ним, размахивая руками, мчатся остальные. Все запахи из глубины сада – смородина, тина, раскаленное железо, трава и тени – поднялись ко мне, словно дети, эта орда захватчиков из сказочных сопредельных стран, взметнули их над собой – так рыбы взбивают воду плавниками.

Я смотрела на них, в саду все затихло, лишь слегка подрагивали стебли глициний.

Я видела, как, одетые в школьные костюмчики, они исчезли в аллее; я не смогла подняться сразу – сильно болели ноги, я только взяла палку и начала чертить на песке орнамент для коврика.

Я слышала, как в глубине сада хлопнула дверь сарая, потом шелест колес и скрип тормозов.

Я поднялась не сразу, я подождала, когда в аллее осядет пыль, когда успокоятся глицинии.

Я осталась сидеть на месте.

Мне даже кажется, что я опять задремала.

Над моей головой мадмуазель Фулальба открыла окно своей комнаты. Теперь уж я проснулась по-настоящему; над глициниями я увидела ее белый зонт.

Еще на минутку я прикрыла глаза, потом два раза попробовала встать, но все падала назад, на шезлонг; в третий раз мне удалось удержаться на ногах, я подошла к двери и толкнула ее палкой: Аньес варила варенье из айвы. И я уже забыла, что малыш катается на велосипеде за оградой.

Но когда я вошла в кухню, когда Аньес вытерла ладони о передник, когда запах варенья застал меня врасплох, я сразу вспомнила о мальчике, сыне Изольды и Себастьяна, племяннике ужасной мадмуазель Фулальба.

А сама она как раз в это время спускалась по лестнице, важно неся над головой белый

зонт, ее пальцы стучали по перилам, как деревишки, связанные веревочкой

– Мальчик не вернулся? – спросила она с легкой улыбкой.

МАДМУАЗЕЛЬ ФУЛАЛЬБА

Нет, он не вернулся, наступила ночь, эта чертова магнолия сводит меня с ума. Ненависть – мой хлеб насущный.

Мадам Шевелюр, я вас ненавижу, я служу вам, я ваша гувернантка, я воспитала ваших детей, я вас ненавижу.

В молодости я презирала всякое подчинение – как плохо я знала себя!

Я сдохну в этом саду.

Я исполняю свое призвание.

Я сдохну в этом саду. Эти чертовы магнолии!

БАБУШКА

Весь день мы, мадмуазель Фулальба, Аньес и я, искали его повсюду: в комнатах, под кроватями, в шкафах, выпуская из их тени запах

нафталина, в кустах, в дровяном сарае, в прачечной, в курятнике, искали до самого вечера.

Когда уже стемнело, я позвонила в жандармерию.

И вот бравые жандармы гордо застыли в дверном проеме.

РОЖЕ

Я уехал с товарищами на океан, мы уже давно экономили по мелочам, чтобы собрать небольшую сумму.

Вечером в Решаренже мы сели в поезд до Нанта; утром, голодные, растрепанные и грязные, мы выскочили на платформу.

Вытащив велосипеды, мы покатили к океану. До вечера мы проспали голые на пустынном пляже, усеянном птичьим и человечьим дерьмом.

Эта скотина Киприан решил, что пришел подходящий момент, чтобы уступить своим самым потаенным желаниям и решительно положил свою белую ладонь на мой зад. Я накинулся на него, отвесил ему оплеуху и швырнул в глаза пригоршню грязного песка.

По его запыленным щекам потекли слезы, он пристыжено прикрыл двумя руками свой член.

Эту ночь мы провели в некоем подобии борделя на побережье.

Рыжая горничная открыла нам дверь комнаты с двумя кроватями и, крутя задом, распахнула ставни. Потом она сказала, что для старшего у нее есть кровать в ее комнате.

Киприан и Марсель уже спали – одетые, раскинув покрытые разводами соли и песчинками ноги по синему в желтый цветочек покрывалу.

Горничная сказала:

- Ну, ты идешь? Что ты витаешь в облаках?

Полусонный, еле волоча ноги и зевая, я поплелся за ней; она взяла меня за руку, погладила ее свободной ладонью и прижала к своему бедру, но я спал на ходу.

В ее комнате пахло морем и потом; на узкой кровати, свесив руки до пола, спал мужчина, молодой безусый моряк.

Из соседних номеров доносились гул голосов и стук в стены. Горничная, опершись на спинку своей кровати, смотрела на меня с дурацкой улыбочкой.

- Придется тебе лечь со мной.

Округлив глаза, я стою, как вкопанный, посреди комнаты.

– Hy! Раздевайся! – говорит рыжая, – чего ты ждешь? Когда ты был совсем маленьким, тебе приходилось спать с мамочкой?

Я раздеваюсь, она берет мою одежду и складывает ее на стул, я стою совсем голый.

- Марш в постель! - приказывает рыжая.

Я ложусь в ее постель.

Я проскальзываю между теплыми белыми простынями, пахнущими лавандой.

Молодой моряк, всхрапнув, поворачивается на бок.

Я молчу; с тех пор, как мы остались с ней вдвоем, я еще не проронил ни слова.

Я смотрю на нее поверх простыней, она раздевается. Сняв корсаж, она внезапно оборачивается и вскрикивает:

 Что за свинство! Ну-ка, отвернись, маленький нахал!

Но я, облизывая губы, продолжаю смотреть. За окном среди волн кричат чайки.

Усталость и шум моря ненадолго усыпляют меня; я просыпаюсь, девушка все раздевается. Ее грудь и бедра обнажены. В первый раз в жизни я вижу голую женщину; когда она, вся

белая, подходит к кровати, мое сердце начинает бешено колотиться.

- Почему вы не надели ночную рубашку? спрашиваю я стыдливо.
- Спи, ответила она, скользнув под простыню, спи, мой хороший, баиньки...

Она погасила лампу в изголовье кровати; в темноте явственнее слышались шум прибоя, крики чаек и храп молодого моряка.

МАДМУАЗЕЛЬ ФУЛАЛЬБА

Изольда опустила голову. Мадам Шевелюр: «Изольда, вы могли бы рожать здесь». Заметив, что Себастьян уже готовит слова благодарности, я стукнула его рукояткой зонтика по руке и сказала: «Мадам Шевелюр, я стесняюсь, Изольде лучше рожать в больнице».

Но она уже засуетилась; положив ладонь на плечо Изольды, она принялась отдавать распоряжения Терезе.

Ночью я спрашивала себя, почему они так внимательны ко мне. Они беспрерывно путешествуют, на что им ребенок? Не иначе, хотят подбросить его мне. Бьюсь об заклад, они разведутся вскоре после рождения ребенка. Все Фулальба так делали. Мы любим море.

БАБУШКА

«Жить – значит побеждать», – говорила мадмуазель Фулальба.

Наверху, в холодной темной комнате, стонала Изольда, доктор Жирар держал ее за руку.

Себастьян, ругаясь и плюя на пол, метался по кабинету.

Тереза, Анри и я сидели на кровати в синей комнате, что напротив комнаты Изольды, вскакивая при каждом ее стоне.

Окно в сад с замерзшими магнолиями было распахнуто.

Когда мадмуазель Фулальба наконец спустилась по лестнице, пошел снег.

Открыв рты, не двигаясь, мы смотрели, как январский снег, снег январского вечера, падает на магнолии.

Внизу, в зале, Тереза зажигала свечи.

Она говорила потом, что мадмуазель Фулальба открыла дверь и долго смотрела на нее, прежде чем войти, так что ей, Терезе, то есть,

показалось, что та сейчас упадет в обморок или даже бросится на нее и утянет с собой в смерть.

А на самом деле (Тереза говорит, в этот момент по деревне проезжал грузовик с винными бочками, оставляя за собой запахи вина и мазута, поднимавшиеся по фасадам и проникавшие в открытые окна; в этот момент, говорит Тереза, Себастьян и Анри, спустившись из синей комнаты, застыли за спиной мадмуазель Фулальба; воротник куртки Анри был высоко поднят и торчал над его затылком, словно он вдруг стал горбуном), а на самом деле мадмуазель Фулальба приблизилась к свече и, пытаясь достать с полки книгу, подпалила свои локоны.

Ну, она заорала, за ней заорали и мы.

Как раненый зверь, она закружилась по залу, освещая своим жутким факелом безделушки, книги и картины.

Потом Тереза:

- Анри! Держи ее! Держи! Быстро, воды, покрывало, покрывало!

Анри вышел из тени, схватил мадмуазель Фулальба за плечи и дернул за волосы. Как кипа белья, она рухнула на паркет.

О ужас! Анри, как некий индеец, держал в руке пылающую шевелюру; он снял скальп с

мадмуазель Фулальба... да нет, мадмуазель Фулальба носила парик.

В раздавшемся тут же протяжном «Ox!» слышалось не сочувствие, а скорей, негодование; никто не двинулся с места, чтобы поднять ее; Анри и Себастьян с омерзением отвернулись и, выскочив в дверь, разразились в вестибюле громким смехом.

Они бежали по припорошенному снегом саду, Анри впереди, кончиками пальцев держа над головой горящую копну волос с криком: «Фулальба носила парик! Фулальба носила парик!» В свете факела явственно различалось облачко снега, взметенное их шагами.

И тогда, как аккорд септима, среди всеобщего гама прозвучал крик новорожденного.

БАБУШКА

Едва встав на ноги, Изольда объявила нам, что хочет уехать. Спустя некоторое время она впала в депрессию, в какое-то животное оцепенение, она не хотела видеть ребенка. Однажды утром, когда Себастьян обвинил ее в

бесчувствии, она набросилась на него, разорвала рубашку и плюнула в лицо.

Она сошла с ума, пришлось ее запереть.

Себастьян исчез на целый год. Когда он вернулся, Изольда умерла.

Однажды утром, во время войны, в день рождения Роже – ему исполнилось два года, Себастьян с непокрытой головой появился под магнолией. Он вошел в салон и объявил: «Я хочу видеть сына». Ребенок внимательно оглядел нас всех и взялся за руку Себастьяна. «Это вы – папа?» – спросил он просто, подняв к нему голову.

Два года от него не было никаких известий. Мадмуазель Фулальба с каждым днем все больше ненавидела меня.

РОЖЕ

В машине папа сказал мне:

 Мы хорошенько повеселимся сегодня, у меня куча денег, не мешает поразвлечься.

Люди смотрели на нас поверх корзин и петушиных гребней.

Машина разрывала пелену тумана. Я прижался к папе; на обочинах дороги снег пестрел желтыми лунками – утром здесь мочились крестьяне и лыжники. Папа прямо держал голову.

В Решаренже автомобиль забрызгал нас грязным снегом.

Мы пошли на вокзал, папа просмотрел расписание и спросил:

- Роже, куда ты хочешь?
- В Париж!

Он сказал:

- В Париж, так в Париж.

В буфете мы пили кофе, папа сказал:

– Утром после нашей с мамой брачной ночи я распахнул окно, и горничная внесла на подносе кофе с молоком.

Потом он умолк, я опустошал сахарницу, официантка грозно смотрела на меня.

В поезде папа показывал мне в окно реки и города; о каждом городе у него была припасена история, длившаяся ровно от вокзала до вокзала; самые длинные были о Невере и Жьене.

Потом он сказал, что по берегам Сены, даже зимой, обитает множество разных зверей.

Он приоткрывает окно, толстяк в глубине купе протестует, но старушка, которой выходить в Невере – она уже подарила мне коробку бисквитов и книгу о летучих рыбах – встает на нашу сторону. Гарсон из вагона-ресторана проходит по коридору, звоня в колокольчик и громко крича:

- Первая смена! Первая смена!

Толстый последовал за ним, оставив на своем сиденьи журнал.

Это юмористический журнал с рисунками красоток, я облизываю губы (не могу удержаться: это, должно быть, нервный тик). Старушка выходит. По коридору проходит красивая блондинка.

Перед Монтаржи папа выходит из купе.

Я сразу вскакиваю и хватаю журнал: рисунки с подписями, подписи мелким шрифтом, рисунки красоток: девушки в купальниках и коротких юбочках, на высоких каблуках, припухшие губки, огромные груди. Читаю подписи: «обнял за талию... положил ладонь... поцеловал в губы... ладонь под платье... жадные руки на ее груди... и т. д.».

Я поспешно отрываю один рисунок с подписью и прячу в заднем кармане брюк.

Блондинка, покачивая бедрами, расхаживает по коридору, время от времени бросая на меня взгляды. Когда папа возвращается на место, я закрываю глаза, и, зевая, откидываюсь на спинку сиденья.

Немного погодя я говорю папе, что хочу писать и выхожу из купе. В коридоре я задеваю плечом бедро блондинки, примостившейся на отопительной трубе и застывшей в созерцании пейзажа; она оборачивается, опускает ко мне голову и улыбается. Я иду в туалет; при мысли, что красивая блондинка смотрит мне вслед, к моим бедрам подступает жар, а грудь сдавливает сладкая истома.

В туалете я вынимаю почерневший от пота рисунок и внимательно его рассматриваю: молодая пышнотелая учительница стоит перед учениками, которые, как один, все тянут вверх руки: еще бы, она их спрашивает: «Есть ли среди вас близорукие, кто хотел бы сидеть на первых партах?»

Мое сердце часто бьется, я подношу клочок бумаги к губам; о, табачный привкус греха! Я представляю себе, как блондинка входит

Я представляю себе, как блондинка входит в туалет (я не запер дверь) с громким «O!»; обхватив руками плечи, я опускаюсь на стульчак

и раскачиваю головой из стороны в сторону; голова моя – корабль под парусами...

Я просыпаюсь на Лионском вокзале. Папа говорит:

Обожаю вокзалы. Ты тоже их полюбишь.
 Я голоден, папа чинно держит меня за руку.

На улице холодно, красивая блондинка идет перед нами с желтым чемоданчиком в руках. Один парень уже предложил ей помощь, она согласилась; когда мы выходим из вокзала, я вижу, как свободной рукой он обнял ее за талию.

...папа останавливает такси и вталкивает меня на сиденье. Он говорит шоферу, чтобы тот с полчасика покружил по городу, а потом доставил нас к дому 34-бис по улице Вильгельма Телля.

Наутро над столицей светит по-летнему жаркое солнце; папин брат-художник дал нам ключ от своей квартиры, и мы пошли шляться по Парижу.

Мы вошли в метро на станции Порт де Лила, доехали до Реомюр-Севастополь, а оттуда через Рынок дошли пешком до Шатле. Мы перебегали дорогу перед грузовиками, протискивались между пьяными и штабелями ящиков. Папа знал все.

На набережной торговали разной живностью: курами, сиамскими котами, собаками, змеями, мышами, хомячками и птицами, птицами, птицами, птицами. Я застыл перед клеткой с хомячками, папа тоже. К нам подошел торговец:

- Распространены вплоть до Малой Азии.

Ветер шевелит волосы у него на лбу, улица с движущимися машинами похожа на горный поток, катящий камни. Мне нравятся башни Консьержери.

На площади Ратуши – голуби и подметальные машины.

Перед Ратушей папа произносит внезапно изменившимся голосом: «Вот идет генерал»; при этом он не наклоняется ко мне, не сжимает крепче мою руку. Мне становится страшно и грустно, хочется вернуться в Брамар (конечно, он имеет полное право оставить меня там одного; наверняка, в городе у него есть любовницы и друзья, которым он говорит вот так, думая совсем о других вещах: «вот идет генерал»; он, должно быть, очень несчастен, он собирается подбросить меня женщинам, в семью.)

Он насвистывает «Посвящение Рамо», мы с ним – забавная парочка. Иногда я засовываю руку в карман: рисунки! На бульваре

Сен-Мишель, который папа называет «Бульмиш», навстречу нам движутся три красивых девушки в обнимку со статными парнями.

– Я жил здесь неподалеку, – говорит папа, – а теперь в Люксембургский сад!

На перекрестке у Клюни папа покупает мне заводного боксера.

Небо заполнили тучи, мы садимся в «Капуладе», папа заказывает себе пиво, мне – молочный коктейль.

Напротив нас фонтан Медичи забрызгал жандарма.

Иногда ужасная тоска хватает меня за горло, сковывает меня холодом: чтобы я ни делал, где бы я ни был, у меня никак не получается стать счастливым. Тогда я начинаю воображать себя во всех возможных ситуациях, рядом со всеми возможными людьми, под всеми возможными небесами – и все то же отчаяние, тот же страх, то же отвращение.

В другой раз та же тоска напала на меня в Англии, в Бервике-на-Твиде. Мы ждем автобус на Хулер; мы вышли на берегу и теперь в задумчивости бредем по пляжу, пиная ногами ржавые консервные банки, клочки водорослей и утыканные гвоздями доски.

Внезапно, не крикнув, не предупредив, папа сорвался с места и побежал по берегу. Я подумал, что он сошел с ума. Я побежал следом, окликая его, но он исчез за деревянным сараем. Я опустился на песок и уснул.

Меня разбудила удушливая вонь экскрементов, принесенная прохладным вечерним бризом.

Я поплелся к автобусу; в Хулере леди Друзилла подхватила меня на руки.

Я знал ее только по фотографиям и маминым рассказам, но когда желтая дверь автобуса открылась в ночь, овеянную свежестью садов, я упал в ее нежные руки; проходя вдоль автобуса, она гладила меня по голове длинными пальцами, унизанными луной и изумрудами.

- Завтра мы найдем твоего папу.

Потом она сажает меня в старую повозку с двумя фонарями по бокам и там, на скамейке, обитой рыжей кожей, между двумя стеклами, покрытыми мошками и грязью, я впервые наблюдаю маленькое чудо. Я сажусь рядом с ней, она держит на коленях раскрытую книгу, не смотрит на меня, не произносит ни слова, продолжает читать рядом с леди Друзиллой,

которая, сидя в желтых бликах горящих по бокам фонарей, разглядывает меня с улыбкой, блуждающей на ее алых губах.

Маленькое чудо вообще-то было славной мордашкой с припухшими многообещающими губками. Нет, решительно, это было маленькое чудо, жеманница, читающая Эпиктета и Мередита.

Поездка была долгой, дважды я пытался заглянуть в книгу через плечо Анны, и дважды она захлопывала книгу и упиралась носом в стекло.

Когда мы проезжали деревню, отзывающуюся конским ржанием, леди Друзилла достала яблоки и бутерброды.

Когда мы въехали во двор замка, пошел дождь. Сразу зажглись все окна, и я увидел черные пятна бассейнов.

Я помог леди Друзилле выйти из экипажа; дождь хлестал в наши лица.

Полсотни лакеев на лестницах; с непокрытыми головами мы перебегаем через двор, маленькое чудо перескакивает через лужи, прикрывая голову книгой.

Дверь открывается, слуги берут меня в плен, меня моет негритянка, вытирает китаянка, поливает духами египтянка.

Я заронил в ее душу беспокойство. С первого дня тысячью тонких намеков я старался разбудить ее самолюбие, я привлекал ее внимание, разыгрывая из себя молчаливого дурачка. Надо было отвлечь ее от книг.

Однажды вечером она мне улыбнулась. Я спрятал под салфеткой леди Друзиллы целлулоидного паука; как только леди Друзилла появилась в проеме дверей, Анна мне улыбнулась.

Я притворился, что не заметил ее улыбки, и ей пришлось все так же улыбаться и даже трепетать ресницами, в надежде привлечь мое внимание.

Так мы сделались друзьями. Ее щеки порозовели, глаза наполнились очарованьем, она стала носить легкие платья. И при этом оставалась злой.

Я писал стихи, лежа на крыльце, у ног меланхолического борзого пса Ионы.

Она еще не вошла в мою душу, я любил ее просто потому, что она была единственной девочкой моего возраста в замке.

Вот что случилось однажды ночью, после того, как я целый день преследовал ее, повторяя одни и те же слова: «Поцелуй, один поцелуй, можно?», преследовал в замке, в саду, на

лужайке, в конюшне, везде, где бы она ни спряталась от меня, везде, где бы она ни пристроилась с книгой на коленях, покрасневшая, растрепанная, красная, как переплет злосчастной книги, к вечеру побелевшая, бледная в своем красном платье среди розовых кустов.

Ночью после этого странного дня вместе с луной поднялся ветер, я бросился на кровать, просунув потные руки между холодных прутьев решетки.

Всякий раз, стоило мне погрузиться в сон, меня охватывало какое-то оцепенение или будило хлопнувшее окно.

Наконец я сбросил с себя одеяло и простыни, вскочил и подбежал к двери.

Когда я вошел в ее комнату, она еще читала. Я медленно приблизился к ее кровати.

Я оперся руками об изголовье ее кровати, она закрыла книгу и положила ее на ночной столик.

Натянув одеяло на грудь, она пристально смотрела на меня; свет лампы очерчивал ее огненные волосы, ресницы, нос и верхнюю губу, все прочее было окутано тьмой.

- Чего ты хочешь?
- Все того же.

- О чем ты?

Она начала понимать, она поняла. Хотя сначала, когда она снова протянула руку к книге, мне показалось, что она не понимает.

Стоило мне слегка пошевелиться, и она закричала, хотя лежала все так же, не дрогнув, по-прежнему вытянув руки вдоль тела поверх одеяла.

Двери захлопали, послышались голоса, в окнах зажегся свет.

Как раненый зверек, я в ужасе кружу по комнате; словно ночная бабочка, я натыкаюсь на стулья и комоды; передо мной приоткрытый шкаф, я забираюсь в него и закрываю за собой дверцу.

Это случилось на кресле эпохи Людовика XIII, огромном, с высокой спинкой. Сотрясаясь от рыданий, она покорно позволила усадить себя. От меня пахло нафталином, от нее – лавандой.

Ветреный день. Машины с туристами у ворот замка. На самой высокой башне, лежа на увядших яблоках Абершоу, я пишу свои стихи.

Внезапно раздался крик Анны; я бросаюсь к окну и вижу ее руки и голову в воде запруды.

Она кричит: «Роже, помоги!», она зовет меня по имени; леди Друзилла и четыре-пять туристов плывут к ней в хлопьях пены; она зовет меня по имени, она тонет, она просит меня о помощи.

Все кончено: она тонет, жены туристов достают носовые платки, она тонет, а я не могу оторвать глаз от водоворота, от концентрических кругов, которые еще хранят крах ее мечты.

Я спускаюсь, безвольно плыву в облаках, отдаваясь глубинам, раскрывая глаза навстречу их свету, касаясь ладонью их обитателей, срывая мимоходом их цветы, я догоняю ее, обнимаю, наши глубины соединяются, все глубины похожи.

Ветреный день.

Лежащий на британской равнине мальчик закрывает глаза. По его обнаженным ляжкам стекает сперма. В его потной разжатой ладони раскрывается клочок бумаги. Мальчик дрожит, кусает губы, сейчас он заплачет.

Над его головой кружатся деревья. Анна... Анна... Анна... Кружение листвы в вышине напоминает водоворот. Мальчик умирает от тоски. Ветер разглаживает волоски на его животе. Мальчик крутит головой из стороны в сторону... Анна... Анна... Анна... Он тонет, но всплывает на поверхность. Он хочет начать сначала, чтобы утонуть окончательно.

Он потягивается всем телом.

Мало-помалу он погружается, тонет. Между его ног, как волны, шевелятся листья и струйки спермы. Судороги. Его затылок три, четыре раза отрывается от земли. Он задыхается. Откидывается назад. Рыбы, как ветер, скользят по его коже.

Может быть, она хотела этого.

БАБУШКА

Себастьян привез мальчика назад и отплыл в Океанию. Он оставил нам Роже загоревшим, диковатым, запущенным и чувственным.

Путешествие возвысило его в глазах школьных товарищей. Он же открыто презирал их. Он отказывался учиться с ними.

Дети в Брамаре прозвали его «Англичанин».

Не раз ему приходилось драться с ними, бросать в них камни, рвать их одежду, чтобы они замолчали.

Наши пожилые соседки часто приходили жаловаться на него. Роже подслушивал за

дверью, и, прощаясь с ними, принимал покорный вид.

Он мало говорил и представал перед гостями и священником наглухо закрытым. Часами он пропадал в полях, как и его отец, когда был ребенком.

Однажды вечером, когда я чистила его брюки перед стиркой, из заднего кармана выпали клочки бумаги, я подобрала их – это были юмористические фривольные рисунки. Пока я разворачивала следующую бумажку, мальчик выбежал из своей комнаты, набросился на меня и вырвал бумаги из моих рук. Я рассердилась, сказала, что хотела прочитать текст, что рисунки... что все это – гадость. Сначала, поджав губы, он смерил меня взглядом с головы до ног.

Когда я протянула к нему руку, чтобы снова взять рисунки, он, сверкая глазами, попятился к ванной; сквозь пелену пара он закричал:

– Никогда вы это не получите! Никогда не получите! И никто не получит! Вы во все суете нос! Это из-за вас папа уехал! Вы во все лезете!»

Он поднялся по лестнице и заперся в кабинете; я слышала через дверь, как он плачет, причитая: «никому не отдам! никому не отдам!», а потом в ярости стаскивает с себя штаны.

Назавтра ближе к вечеру он сбежал к морю; позже он мне признался, что ездил в Нант. Он вернулся через неделю, весь в прыщах, рот на замке, на плечах – волосатые ладони жандарма Матиса.

Ему исполнилось тринадцать лет; в приступах гнева он гонялся за мадмуазель Фулальба, срезая цветы древком знамени с золоченым наконечником, давя фрукты, выкрикивая ругательства, набрасываясь на сироток из приюта.

Лишь по вечерам я могла подойти к нему – не утешая, не заигрывая, не улыбаясь. Тогда он отбрасывал древко и, дрожа всем телом, вцеплялся в мое платье, я брала его на руки и относила на кровать. Я давала ему выпить травяного отвара, он дрожал всю ночь, с древком поперек кровати; доктор Жирар поднимался, чтобы измерить ему давление.

Мальчику нравился тонометр. Он охотно протягивал руку; это было как утопиться, опуститься на дно, снова встретить Анну.

РОЖЕ

Малышки Шевелюры впиваются в артишоки, мадам Шевелюр не ест, она словно наблюдает нечто между краем окна и ставней, Валентин тоже грезит, его тарелка окружена вылепленными из хлебного мякиша зверюшками.

Деревня – распластавшийся краб – сплевывает на ставни зеленые блики каштанов.

Я – ужас сестер Шевелюр, но я их все-таки люблю. В саду они всего боятся, мы с Дональбайном (Валентином) строим в засохшей грязи дороги, роем озера, ставим светофоры.

Они в траве возятся с куклами: одна – говорящая, с хлопающими ресницами, другая – тряпичная, набитая конским волосом.

Мною понемногу овладела страсть к раскопкам. Я шарил наверху по шкафам, в которых бабушка прятала столовое серебро. Я брал чтонибудь себе на пару дней.

Потом я решил найти клад, это было трудно и опасно.

Я тщательно, несколько раз, обыскал все комнаты, и никто этого не заметил. Мне нравилась эта работа, я вслушивался в стук своего сердца, в шум выдвигаемых ящиков, в скрежет

ключей в замке. Я знал особенности каждого комода, я научился воссоздавать изначальный беспорядок в шкафах.

Однажды вечером, через несколько дней после возвращения из Нанта я решил остаться дома один: Аньес, горничная, весь день пела в кухне, потом голос ее смолк; я испытывал какое-то нездоровое влечение к этой пышнотелой молодой служанке с тонкими светлыми волосами и резковато-нежным голосом – я сильно сомневался в ее девственности.

Снедаемый любопытством и немного – желанием, я проник в ее комнату.

На туалетном столике стояли склянки с лаком и пудрой. Я никогда не замечал на ее лице следов косметики, от нее не пахло духами.

На спинке стула, стоящего у зеркала, висел лифчик, я снял его, погладил, поднес к губам. Открыв шкаф, я окунул ладони в складки тонкого белья; ящики были пусты. Где она хранит деньги и побрякушки? Должно быть, в сумочке: она висит на ручке окна, я открываю ее, просовываю ладонь, вскрикиваю и вынимаю из пахучей тьмы палец, проколотый заколкой для волос. Внезапно со стороны постели доносится какой-то шум. Я поворачиваю голову: на

белой смятой простыне трепещут два нагих тела: Аньес в объятиях молодого механика (аккуратно сложенная блуза с пятнами машинного масла лежит на зеленом кресле).

Ошалевшие, они прячут лица и тщетно пытаются укрыться сползшей на пол простыней. Я отступаю к окну, они потешно дрыгают ногами. Механик, схватив одежду, выбегает вон.

Аньес закрывает груди простыней, но я помню их упругость и объем.

- Теперь ты все видел, - говорит она мне.

БАБУШКА

Он всегда называл меня «бабуля». Любил меня, как мать. Он боялся мадмуазель Фулальба, но мог и дать ей отпор, а иногда даже наброситься на нее с кулаками.

Но это странное, наводящее ужас существо умело зачаровать его.

Он никогда не заговаривал ни об отце, ни о матери.

Он очень рано объяснил для себя причину их вечного отсутствия.

То, что он не говорил об этом, трогало меня до слез.

Он любил риск, не интересовался обычными профессиями, его притягивали приключения: жизнь, как ремесло; для большинства самое важное – договориться с жизнью, как можно скорее спрятаться, отгородиться от нее максимальным количеством условностей.

Я не научилась сопротивляться, моя юность была отравлена мадмуазель Фулальба, я трепетала от ее ледяного взгляда, кровь приливала к моему лицу, едва ее хриплый голос разрывал тишину комнаты. Я, как дурочка, жила, не считаясь с собой. Роже стал моей первой пробой, первым поступком свободной женщины, первым ребенком.

Поступив в шестнадцать лет в колледж, он три года спустя закончил его первым по французскому и географии. Там с ним ничего не приключилось, Святые Отцы считали, что у него покладистый характер.

- Он далеко пойдет, - говорили они.

Мадмуазель Фулальба унаследовала от младшего брата огромное состояние. Она оставила меня и увезла с собой Роже.

В один осенний вечер она забрала его из колледжа и взяла два билета до Парижа. Пока

она в бухгалтерии оплачивала начавшийся триместр, он позвонил мне: «Я должен подчиниться ей, – сказал он, – вы были для меня настоящей матерью, я никогда вас не забуду».

Не могу выразить словами всю мою любовь к нему. После первых его слов я разрыдалась.

Она мне отомстила.

РОЖЕ

– У тебя не было счастливого детства, – сказала она, поднимая пальцами штору, за которой блестели мостовые города и крыши мчащихся по ним машин, – теперь я очень, очень богата. Твои предки были моряками, мы все любим море. Мы построим яхту. Когда она будет готова, мы поплывем в Ирландию, во владения моего брата, мы будем там жить, ты сможешь путешествовать, плавать, куда захочешь. А пока ты сам будешь зарабатывать себе на жизнь.

Она медленно пошла к двери, по дороге потрепав меня по щеке. Яркий солнечный луч, как лезвие серпа, раскроил ее спину сверху донизу.

Я нашел место учителя в семье баронессы из XVII округа; сестре моего маленького ученика было шестнадцать лет, мы часто вместе выходили в город; мы расставались на площади Бастилии, там, у ограды карусели, я ее находил поутру в объятиях местного хулигана. Днем она снова становилась пай-девочкой из хорошей семьи.

Я слушал в Сорбонне лекции по философии, но большую часть дня я проводил, гуляя по Парижу или читая в парковых павильонах. Когда уставал, спускался в метро. Ночью я находил развлечения на Рынке.

Я встречался с Бригиттой у метро Сен-Мишель, мы шли по бульвару до Обсерватории, она рассказывала о своих ссорах с матерью, я молчал; мы сворачивали к Сене, в таверне Дворца я угощал ее пивом, потом мы снова спускались в метро и ехали до Бастилии.

Я поцеловал ее в первый раз под скрежет колес тормозящей машины, в сиянии фар я обнял ее за плечи, чтобы уберечь от опасности.

Одним декабрьским вечером она пришла в маленькую комнатку, которую я снимал в отеле, она плакала, умоляла, приказывала мне овладеть ею, легла на мою кровать, отказывалась уйти.

Вы целуете девушку, она воображает, что вы в нее влюблены, обожаете ее, считаете единственной.

Она мстит, говорит, что я ее изнасиловал, баронесса выгоняет меня, я остаюсь без средств.

Я встретил Валентина.

Он нашел место рассыльного в ателье готового платья и въехал в литературу на велосипеде.

Каждое утро я иду туда, где город кажется плывущим, но это не город плывет, а река. Каждое утро один и тот же старик, жестикулируя, как автомат, выводит меня из неизменного забытья. Не задерживаясь у булочных, я иду к строительным площадкам за последним городским мостом. Я стыжусь своих грязных ботинок, небритых щек; рассуждая вслух, я ищу сухое место на скамейке, и солнце взбирается на деревья и желтые фасады города. Я иду дальше; при виде ночлежки я вспоминаю о колледже: там, объятый страхом, я уснул бы, как дикий зверь, до вечера, до молитвы к Святому Причастию.

Это – не Приключение, но то, что ему предшествует: неминуемый ужас, необходимое одиночество, подъемлющее ладони к лицу.

Мне двадцать лет, этим вечером мне нечего есть, и завтра – тоже. Я буду идти всю ночь, ужасаясь все нарастающей коросте грязи на моих ладонях.

В огнях светофоров светятся проститутки.

Однажды февральской ночью, после двух месяцев нищеты, я упал в обморок на мостовой у Рынка.

Придя в чувство, я обнаружил, что лежу на скамейке в кафе; надо мной склонялись красномордые мясники в окровавленных фартуках. Я выпил рому, женская рука приподняла мой затылок, другая вытерла меня полотенцем – я упал лицом на землю, покрытую рыбьей требухой.

Женщина сказала:

- Я отведу его к себе. Бедный мальчик!

Я закрываю глаза, меня поднимают чьи-то сильные руки.

Десять дней я жил в ее квартире; чтобы составить мне компанию, она пригласила своего кузена из Шавиля. Она занималась малопочтенным ремеслом на улице Сен-Дени и возвращалась только под утро. Кузена звали Робер, он был немного придурковат, но умел читать;

Марсель покупала нам романы по четыре су и, благодаря ангельскому голосу Робера, я познакомился с новой литературой.

Она выходила после полудня, и перед уходом готовила нам ужин, но иногда к семи вечера она возвращалась, и тогда мы сопровождали ее на улицу.

Я понемногу пришел в себя; я дал знать Дональбайну, чтобы он как можно скорее нашел для меня уроки; он пришел навестить меня: мне достались уроки французского для сына декоратора на бульваре Сен-Жермен.

Дональбайн не упрекнул меня за то, что я так долго не подавал о себе известий, он знал, что это всего лишь игра; познакомившись с Марсель, он пригласил ее в театр, на «Адскую машину» Кокто; мы представляли собой очень приятную группу.

Она кончит свои дни в монастыре, – говорил Валентин о Марсель.

Он как раз закончил роман о своем деревенском детстве.

Робер уехал в Шавиль, я вернулся в свою комнату в отеле, я каждый вечер видел Марсель – проходя по улице Лувра, я делал крюк

через Сен-Дени, и находил ее там – в юбке с разрезами, окруженную излишне целомудренными студентами, которым созерцание красавиц с Сен-Дени давало необходимое возбуждение для краткой мастурбации перед сном.

Дональбайн работал на бульваре Распай, мы завтракали вместе у «Генриетты».

Там он и познакомил меня со своим товарищем по колледжу, Аурелианом, а также с Ниной и Жюльеном.

БАБУШКА

Он приезжал только раз в год, на Пасху. Он сильно похудел, его молчание пугало, я встречалась с ним только за столом; на мои расспросы о парижской жизни и о работе он отвечал рассеяно, впадая в ярость, когда я была излишне настойчива.

Он подолгу, с книгой в кармане, пропадал в окрестных полях.

Я не получала никаких известий от Фулальба.

Не знаю, к чему как раз в это время мне приснилось, что она, вся в белом, улыбаясь,

выходит из столичной церкви под руку с одиноким морским волком.

За несколько дней до своего отъезда он сел в автобус до Решаренжа и вернулся только вечером на следующий день.

Он сказал мне, что ездил навестить свою подружку в Ардеше, что провел там два незабываемых дня и объелся ставридой. Ее звали Нина. Младшие Шевелюры все выпытывали у него, кто она, но, поскольку она была родом из Решаренжа, они, без сомнения, знать ее не могли.

Они встретили его, привели к себе, окружили вниманием, поправили узел его галстука, постригли его. Он целиком сдался на их милость. Он жалел, что у него нет ни сестер, ни кузин.

Иногда, после долгого молчания, он протяжно вздыхал и улыбался некоему призраку, видимому только ему. Он любил раскрывать мне душу, когда я его об этом не просила. Он ненавидел расспросы.

Накануне отъезда он признался мне, что влюблен. Был вечер, сидя под мирабелью, я читала «Жития святых»; я слышала, как он

сходит на первый этаж, двигает мебель, открывает шкафы; потом он высунулся в окно; я подумала: как он похож на свою мать!

- Я укладываю чемодан, прокричал он мне, и не могу найти синюю рубашку...
- Она еще в бельевой корзине, я поглажу ее после ужина!

Он спустился и сел рядом со мной, легкий ветерок шевелил листья мирабели и белье, развешанное над салатом.

Он заговорил со мной, я положила книгу на колени, удерживая страницу указательным пальцем.

– Завтра я сяду на семичасовой автобус, поезд отходит от Решаренжа в одиннадцать, я хотел бы еще напоследок встретиться с Ниной, это будет для меня не так грустно... – Он умолк; эти последние слова он произнес с буржуазным равнодушием, со светской непринужденностью, которой я прежде в нем не замечала. Но сразу вслед за ними его рот раздулся, губы приоткрылись, я поняла, что он хочет говорить, должен говорить, я сидела неподвижно, не проронив ни слова; он продолжал: – ...У нее богатое воображение, она обожает рассказывать истории, сочинять

волшебные сказки, она сочинила на ходу сказку о коте, принце и волшебном ковре. А еще у нее очень красивый голос...

Он замолчал, не договорив.

- Она - очень хороший товарищ...

С веток мирабели слетела тишина, Роже смотрит на меня, словно желая во мне увериться – так трогают ногой доски старого моста, перед тем, как ступить на него.

Внезапно отвернув в сторону лицо, он проговорил тихо и очень быстро, чертя носком ботинка по песку:

- Бабушка, мне кажется, что я влюблен.

Повернув ко мне лицо, он изобразил на нем подобие улыбки и застыл в ожидании.

Мы собрали чемодан, потом, после полудня, рука об руку прогуливались в саду, он говорил о ней с воодушевлением, я никогда не видела его таким разгоряченным; быть может, в первый раз я видела его счастливым или, по крайней мере, переполненным чувствами.

Его пыл, его молчание скрывали необычный страх перед жизнью; он оставался ребенком, и не мог выйти из детства, Он любил свободу, а не одиночество; он не был мизантропом, но боялся мира взрослых, боялся в один

прекрасный день оказаться хозяином себя, своей судьбы, своего здоровья.

Ему надо было без конца влюбляться, и всякий раз — страстно; разочарование, как демон, подстерегало его повсюду; стоило ему на время лишиться любви, перед ним раскрывалась бездна небытия и высасывала из него всю энергию. Лишь страсть могла поддерживать его на плаву.

Но в тот вечер безграничная любовь защищала его от мира, не позволяя увидеть окружающее в его истинном свете.

РОЖЕ

Иногда в Париже, преимущественно по утрам, я думал о самоубийстве.

С пугающей ясностью я рассекаю мыслью мое тело, мой разум, походя разрушая их, я преисполнен ярости, анализируя себя до крайности, до безумия, беспристрастно рассматривая свои способности и привычки; одну за другой, я высмеиваю свои привязанности, рушу все песчаные замки моего детства: я никого не люблю, да и не могу любить.

Моя безмерная гордыня мне отвратительна, как воскресный пирог: отныне ничто меня не держит, и я не дорожу ничем.

Тогда я бросаюсь на кровать, прижимаю ко рту подушку, чтобы сдержать крик, изливаю в одно утро все скопившиеся во мне слезы; к полудню я отправляюсь обедать, только еда на время возвращает мне ощущение безопасности, и я тупо, как животное, жду часов завтрака, обеда, ужина – в раскаленной пустыне дня лишь они, как оазисы, возвышаются над унылой равниной.

По ночам я возвращаюсь к себе как можно позже, страшась тишины моей комнаты и населяющих ее вещей.

Утро возвращает привкус безнадежности.

Я встретил ее впервые в ресторанчике на Монпарнасе.

Однажды вечером Дональбайн затащил меня к «Генриетте», где его ждали друзья, рассевшись за круглым столом под давно остановившимися крестьянскими часами. Весь вечер она слушала, ни разу не раскрыв рта.

Мы вышли, и я заметил, как Аурелиан обнял ее за талию.

Мы прошли по бульвару Монпарнас до «Клозри де лила», я хотел уйти, но Валентин с друзьями меня отговорили; взглянув на профиль Нины, я испытал щемящую грусть; я сказал, что хочу спать, пожал руки, сговорился встретиться с Валентином, и тут Нина взяла меня под руку:

- А если я вас попрошу, вы останетесь?
- Да.

Карета скорой помощи на выезде из Нотр-Дам-де-Шам, или треск светофора, или соприкосновение наших ладоней, воскресили во мне воспоминание об Анне, маленькой английской утопленнице.

Несколько мгновений спустя мы уже сидели на жестких скамьях синематеки, поглощенные «Героической кермессой»¹. Несколько раз, повернувшись к Нине, я замечал, что она тоже на меня смотрит, наши глаза встречались, и мы улыбались друг другу. Удручающе скучный, не раз виденный фильм казался мне новым: куча новаций, богатые декорации, великие актеры – и камера в руках школяра.

¹ Фильм Ж. Фейдера (1935). Здесь и далее прим. переводчика.

После фильма – традиционная кружка пива в «Капуладе», Нина по-прежнему молчит, мы с Аурелианом ведем нескончаемый разговор о приключениях и путешествиях.

 ${\bf C}$ этого вечера мы с ним встречались каждый день.

Я быстро забыл Нину. Но когда Аурелиан сказал, что они были любовниками, что-то во мне шевельнулось.

Перед Пасхой я часто видел их вместе, и мое безразличие понемногу таяло от встречи с ее ладонью, от слова, от улыбки, предназначенных мне одному; всякий раз, когда без четверти час он целовал ее перед тем, как втолкнуть в последний поезд метро, я искренне страдал и до самой моей двери Аурелиан тщетно пытался вырвать из меня хотя бы слово.

В кино я садился между ними; в кафе я не мог вынести их показной близости и часто внезапно выходил, не возвращаясь к ним по три дня.

В один воскресный вечер, возвращаясь пешком с улицы Вильгельма Телля, где я обедал

у дядюшки, я зашел в комнату Аурелиана на бульваре Эдгар-Кине; я постучал, мне долго не открывали; Нина сидела в тени на наскоро заправленной кровати, платье смято, волосы растрепаны; впервые ее вид взволновал меня, я хотел ее.

С этого первого мгновенья, когда она оказалась рядом со мной, ее образ, ее голос больше не покидали меня; я, свистя, напевая, брел по бульвару Сен-Мишель с необъяснимой и прежде небывалой дрожью в голосе. Единственный взгляд перечеркнул годы одиночества.

Я вернулся к себе, окунул голову под струю холодной воды и вынырнул с громким смехом.

Мы ждали Нину у выхода из мастерской; сильно заикаясь, нас позвала какая-то старуха, окруженная смуглыми манекенами.

В черном обтягивающем платье, она появилась из тьмы коридора.

Подождите пару минут, я сейчас закончу и приду.

Мое сердце бешено билось, эхо ее голоса готово было разорвать мою голову.

С картонкой под мышкой, она вышла между нами на улицу.

– Как я рада... давно не виделись... что ты поделываешь? – сказала она, поднимая ко мне голову и сразу опуская ее с игривой улыбкой.

Я в смятении шел рядом с нею, скованный, точно оловянный солдатик, неловко склоняясь к ней, чтобы сказать что-нибудь детским, внезапно срывающимся голосом.

Они уверяли меня плюнуть на экзамены и поужинать на улице Эколь-де-Медсен, в ресторанчике наших первых парижских месяцев, «Приют в Кордильерах».

Утром я порезал палец, так что Нина сама приготовила мне салат; когда она передавала мне нож и вилку, наши руки слегка соприкоснулись. Она говорила со мной торопливо, словно в последний раз. Загнанная в угол.

Когда я сказал ей, что родом из деревни рядом с Решаренжем, на меня посыпался град вопросов:

– А такого-то знаешь? А доктора такого-то? Профессора такого-то? А такого-то? Адвоката такого-то?

Я отвечал по мере сил, игра грозила затянуться, Аурелиан ерзал на своем стуле, уже гасили свет, гарсоны окружили наш стол, толкая швабрами наши ноги.

Раз или два, вспоминая тот или иной случай, она заливалась легким смехом, весь Решаренж стал мишенью ее злословия; мы, наконец, обнаружили дальнее родство.

На улице шел дождь, мы торопливо допивали кофе, уличная свежесть поднималась по нашим ногам.

Из окон, раскрытых в дождливую тьму, до нас доносился хор Шумана: «Shwelle die siegel, gunstiger wind...»

Мы посмотрели очаровательный фильм Фернандеса «Сеть», в самый раз для наших подростков. Аурелиан и Нина были явно под впечатлением дикой чувственности шедевра.

Когда мы расставались, Нина пригласила меня в Ардеш, где у ее родителей было семейное гнездышко. Подавая мне руку, она еще раз повторила приглашение, настойчиво заглянув мне в глаза, потом они с Аурелианом поднялись в его комнату.

В этот вечер я не сразу вернулся к себе, я выпил пива на площади Шатле, между двух ящиков с устрицами; потом через Марэ я дошел до Бастилии, где встретил Бригитту, поглощающую ячменный сахар в объятиях не совсем законопослушного парня.

ЖЮЛЬЕН

Я не видел Роже с просмотра «Героической кермессы», рядом с ним все время крутится Нина, она без ума от Аурелиана.

Нина приходила и ко мне, восхищалась моими картинами; мы – старые товарищи по студии.

Мы все любим Нину.

РОЖЕ

Мы сели на поезд на Фонтенбло, и тут же на вокзале потеряли из виду нашего кузена; с нами – две подруги Клод, сопровождающие детей в лагерь отдыха, и один ее друг, едущий на каникулы в Море; дети мокнут под дождем. Клод прячет свой греческий профиль под намокшим платком. Пора обедать, я достаю пиццу, бутылку кьянти и рассказываю Клод о своем детстве. Потом замок, кессонные потолки, лебеди в пруду, утки в канале, Клод смахивает со лба непокорную прядь: это ее характерный жест. Ее башмаки вязнут в грязи аллей; своей старенькой английской камерой я снимаю легкое порхание ее волос и окружающей листвы.

Мое сердце раскачивается на качелях: неряха Клод.

Он смотрел на дождь сквозь стекло автомобиля. Как он вернется этим вечером? Пешком или верхом на Фламандие?

Как она его встретит? Она приглашала его, но с дочками.

К ее счастью примешивалась толика страха; он боялся показаться смешным. Его руки без его ведома поднимались к груди, изображали ласковые прикосновения, но тут же опускались, точно отвергая. Его взгляд сосредотачивался на затылке соседки, находя в нем недопустимые несовершенства.

Автобус мчал вдоль озера, капли дождя стучали по днищам лодок, он вспоминал лицо Нины, множество лиц минувшей зимы. За несколько минут между поворотами скользкой от ливня дороги его воображение представило ему все их встречи в последнем триместре, ее светящееся лицо в его ладонях и воображаемую поездку к морю.

Он прижался лицом к холодному стеклу, озеро застыло у подножия старой одинокой сосны.

Он шел между домами и стройплощадками и не мог найти улицу Котавьоля; дождь струйками стекал по его плечам; ему пришлось искать всю ночь.

РОЖЕ

Это был скверный домишко, желто-грязный, как вокзал, но большая круглая лужайка перед фасадом, открывающаяся с дальнего подхода, а также гигантские ели и каштаны скрывали его непропорциональные очертания.

Я замечтался, меня подтолкнул мальчик в педальном автомобильчике; в момент, когда сталь бампера соприкоснулась с кожей моего сапога, я заметил ее на желтом перроне; махая мне рукой, она медленно спускалась по ступеням в черном кожаном жакете, накинутом на плечи.

Я желал ее еще сильнее, чем в Париже.

Она не заметила меня с перрона, я подумал, что встал слишком далеко, но она уже бежала ко мне через лужайку, поддерживая двумя руками воротник куртки; мальчик на своей машинке въехал за ограду и исчез в тумане.

Она подбежала, протянула мне мокрые от дождя руки, я сразу ощутил их волнующую свежесть.

– Так мило, что ты приехал, сказала она, запыхаясь; мы пошли по раскисшей дорожке аллеи; она постоянно смахивала со лба надоедливо липнущую челку. - Я знаю, ты мне звонил...

Дождь, волнение, одышка глушили мои слова.

Стоя в вестибюле, под лампой, она принялась стаскивать с меня пальто, ее пальцы скользнули по моим плечам; плитки пола, покрытые грязью, хранящие отметины следов, виднелись где-то далеко внизу, среди ковриков и картонок.

Мадам, вся круглая, как яблочко, с глазами, точно мирабели, появилась из глубины замка и, извиняясь, протянула мне кончик пальца.

 Не могу пожать вам руку, мсье, я топила печь.

По лестнице медленно спустилась толстая смуглая девица:

- Моя сестра Беатриса.

Ее длинные черные волосы были стянуты голубой лентой.

- Так или иначе, я приму вас, мсье.

Нина отвела меня в столовую, я выпил большой бокал гранатового сока, Нина, сидя на углу стола и болтая голыми ногами, смотрела, как я пью.

Она была в черном платье из ателье; из-за дождя стемнело очень рано.

Комната Нины, картины, диски, раковины, запах вербены.

- Что ты делала на каникулах?
- Гуляла.
- Я рисовал.
- Покажи, что ты сделал.
- Я даже написал несколько стихотворений.

Мы замолчали, я хожу по комнате, она откинулась на кровать, я боюсь смотреть в ее сторону, поворачиваю глаза к окну или к картине.

- Как ты доехал? Садись на кровать,
- Автобусом.
- Из Брамара? Ты очень мил, останься сегодня ночевать.
- Не знаю. Я хотел бы прогуляться вечерком домой.
 - С ума сошел! В такой дождь!
 - Ты знаешь, я люблю ходить пешком.
- Смотри-ка, ты сменил очки! Эти тебе очень идут! Она поднялась и села на краешек кровати.
 - Настал час молитвы! кричит мадам.

Входит парнишка в автомобильных крагах.

- Это Мишель, он тоже рисует.

Мальчик протягивает мне руку, влажную от дождя и смазки.

Сквозь открытую дверь я вижу Беатрис, улыбающуюся мне меж двух створок тени.

НИНА

На службе, в маленькой церкви, священник умывает руки маленьким певчим; запах воды смешивается с запахом ладана; он, такой нескладный, стоит, выпрямившись рядом со мной, громко дышит и говорит мне на ухо; стоя за нами, на нас пялится чета Б.; ой, я сейчас рассмеюсь. Он нарочно подставляет голову под исходящие из витража лучи, и вот его лоб и щеки окрашиваются желтым, зеленым, красным и синим. Потом он выпрямляет голову, снова принимает сосредоточенный вид, надувает губы и морщит лоб. Я люблю его таким, чудной парень!

Дети на возвышении задвигались, книги захлопали, стулья заскрипели.

Этой ночью мы долго гуляли, он говорил без умолку, потом прильнул ко мне и обнял меня за плечи, прижал к себе, он меня любит... а может, не любит, мы останемся друзьями, он там скучает, он придет, у меня красивая фигура, мы знакомы, я – подружка Аурелиана...

Он хочет обрести здесь Париж и... и Аурелиана.

На бульваре – музыка, музыка... мы просто друзья.

Еще не остывшая от своей мечты, она сжала ладонь Роже, они медленно вышли из церкви.

Дождь перестал.

 Подождем конца службы у портика, я хочу показать тебе деревню.

НИНА

Он всегда смотрит на меня с улыбкой, внешне он внимательно меня слушает, но он не принимает меня всерьез, или он знает о том, что происходит между мной и Аурелианом.

Нет, он не может этого знать, Аурелиан ему не скажет, тогда отчего эта улыбка? Почему он не возьмет меня за руку, не обнимет за плечи? Теперь это было бы так просто.

Он молчит, рассеяно выслушивая едкие характеристики, которые она дает обитателям окрестных домов, он все молчит, лишь улыбается.

В ответ, надев доспехи холодности и вооружившись целомудрием, она ускоряет шаг. Знакомый мальчик окликает ее, осыпает расспросами, берет под руку, отдаляет от Роже.

Мальчик заговорил об одной подружке Роже, которую он встретил на маскараде, он влюблен в нее, он расспрашивает о ней Роже.

Теперъ Нина терпит крушение, она плетется за мальчиками, как утопленница.

РОЖЕ

После службы я провел ее по магазинам, она купила яиц, лакрицы и рыбы, я тащил сумку, она загружала в нее свертки; ее волосы не раз касались моих, когда мы вместе склонялись над покупками.

Я был готов обнять ее, завалить на ящики с фруктами и целовать до безумия в душном и терпком воздухе магазина.

На улице проезжавший грузовик окатил нас с ног до головы, мы со смехом вскочили на тротуар, и тут я заметил, что обнимаю ее за плечи.

Ее лицо было забрызгано грязью; несмотря на мои указания: повыше, пониже, налево,

направо, она не смогла оттереть ее, тогда я взял ее руку и стал водить ею по ее лицу.

В этот момент она стала какой-то молчаливой, важной, приблизилась ко мне.

Дрожа всем телом, я обнял ее руками за талию, она, встряхнув волосами, откинулась назад.

Снова пошел дождь.

Шутливый заговор ее родственников сделал нас героями торжественного обеда. От меня даже потребовали рассказа о нашей первой встрече; Нина сидела напротив, раскрасневшаяся, но мне удалось сохранить самообладание.

После обеда она предложила прогуляться и, кажется, была довольна, когда все отказались.

Она поднялась в свою комнату, пробыла там несколько минут и, пока я напяливал на себя тяжелое от дождевой воды пальто, возникла передо мной, такая хрупкая, в черном платьице и кожаной куртке.

На мосту через Луару она, поскользнувшись, вцепилась в мой рукав.

Она дрожала, она знала, что это будет самая долгая прогулка ее юности.

Когда мы проходили мимо последнего деревенского дома, маленькой гостиницы с беседкой, освещенной витой гирляндой, она рассказывала об одном мальчишке из их детской кампании.

- Особенно один он все время терся об меня, плавал рядом и...
 - -И?..

Она покраснела, от реки доносились крики пловцов.

 А здесь я писала стихи, я тебе покажу их в Париже.

Несколько молодых людей, несмотря на поздний час, еще купались в реке, за тянувшимся вдоль берега виноградником виднелись их белые спины.

Луна, полная этой ночью, освещает уходящий за горизонт изгиб реки.

Зажглись огни домов, залаяли деревенские псы.

На мостках полощет белье припозднившаяся прачка.

Мы идем далеко в поля, далеко в ночь, далеко в глубь души.

Она внезапно останавливается.

– Я устала.

Мы уселись рядышком на обочине, перед нами луна – тема для разговора.

Нина легла, раскинув ноги.

Я остался сидеть. Сбросить пальто, лечь рядом с ней, пронести белую ладонь над ее шей – и вот я на ней, сжимаю ее в объятьях. Я сижу, луна, луна, эта чертова луна.

Нина что-то говорит о влюбленных под луной, а я сижу.

Я рассказываю ей о моих прежних сожалениях и страданиях.

Он не смеет, Аурелиан любит Нину, и она еще, быть может, его любит.

Чтобы умерить свой страх, свои желания, он говорит без умолку, она отвечает ему слабым, усталым голосом, словно больная.

Они встают, он тянется к ней, их губы совсем рядом.

РОЖЕ

Мне стало страшно, я был не готов, ты меня застала врасплох, я напуган.

Мы вдвоем в этом пустынном поле, ночью, под обольстительной луной, твои глаза в моих, ты, твое тело, твое дыхание, так близко, я испугался – и вот, потерял тебя.

Ты знаешь, как я тебя любил, знаешь, ты, может быть, тоже немного меня любила.

Но когда мы вернулись на реку, мне кажется, ты что-то уже решила для себя.

НИНА

А вот и велосипедисты.

Они вылетают из тумана в лощину, как разноцветные насекомые.

Первая гонка в этом году.

Беатрис замечталась о чем-то, перед нею проходит парень в синей блузе, торговец сластями, он разглядывает мои ноги и подмигивает приятелю.

Он подходит ко мне.

- Не хотите ли прогуляться после заезда?

Он очень молод, губы плотные, волосы черные и длинные.

Другой присел на основание креста рядом с Беатрис и теперь пытается защитить ее от дождя полой черной кожаной куртки.

Этот мальчишка-торговец мне нравится.

С криками «Кому конфеты!», «Кому карамели!» он исчез в толпе.

Беатрис все мечтает. И о чем она может мечтать?

Парень гладит ее по плечу.

Проехал последний гонщик, толпа рассеялась, мой торговец бежит ко мне с пустой корзиной в руке.

– Ну, вы идете?

Он небрежно берет меня под руку и ведет по дороге, в туман.

- Вы правда хотите прогуляться со мной?

Он смотрит на меня, пожирает глазами, обвивает руку вокруг моей талии и прижимает к себе; несколько мгновений мы стоим на обочине, обнявшись в тумане, он жадно целует мой рот, шею, мы привстаем на цыпочки, мокрая трава обвивает наши голые ноги.

- Сколько тебе лет?
- **...**
- Как тебя зовут? Меня Жан.

Мне хочется оттолкнуть его, убежать, я – шлюха, шлюха...

Но туман, дождь, трава, этот мальчик рядом, такой нежный, такой сильный...

Мы идем по дороге между ивами, Жан вталкивает меня в сарайчик, открытый всем ветрам, на двери – обрывки афиши Дюбонне.

Жан бросает свою корзинку, пол сарая ничем не прикрыт, только куча тряпок и охапка соломы у входа.

Жан разбрасывает их ногой, утаптывает и подталкивает меня к этому грязному ложу.

Весь красный, он стоит передо мной.

- Ты правда хочешь? Да?

Грубые пальцы подростка раздевают меня; по мере того, как я обнажаюсь, его лицо становится пунцовым.

Несмотря на холод, я не дрожу, я не дрожу.

Он снимает рубаху.

БЕАТРИСА

Когда Нина со своим маленьким торговцем исчезли в тумане:

- Ну, ты идешь?

Этот парень в черной кожаной куртке вернул меня с небес на землю. Часто я мечтаю без всякой причины, это находит на меня и потом уходит.

Он в нетерпении, он становится грубым, его широкая красная ладонь ложится на мою грудь.

- Ну, ты идешь?

И тут надо мной, словно вырвавшись из мечты, проплывает голос Роже.

У меня закружилась голова, в наплывающем из полей тумане я склонилась к этому бандиту с красными пальцами.

РОЖЕ

Ee родители считали ее невинной, а она была в лучшем случае наивной.

Я встречал ее каждый вечер, я ждал у метро Распай, мы ужинали у Генриетты, она провожала меня к ученикам, или мы гуляли по бульвару Сен-Мишель.

(В Латинском квартале спуск к Сене – опасная дорожка для юношей, влюбленных в прекрасных недотрог. Многие из них останавливаются на ступеньках у моста Сен-Мишель, ведущих к воде. Самые смелые спускаются под мост; деревья и яркие речные трамвайчики создают там трогательную и нежную атмосферу Луна-парка, и вот уже голова недоступной лежит на плече счастливца.)

Каждый вечер я откладывал эту прогулку на завтра. С Дональбайном мы говорили только о ней, он тоже был влюблен в одну девушку, готовящуюся к поступлению на факультет Искусств. Аурелиану она надоела, он как будто обрадовался, когда я сказал, что люблю ее, и даже пожелал мне удачи. Она часто заходила ко мне; стоило только позвонить – и она сразу выбегала мне навстречу.

Аурелиан не виделся с ней, он как раз ухлестывал за Клод; мне кажется, она стала-таки его любовницей.

Я пока оставался девственником.

В кино, когда она шла впереди меня на место, я легонько подталкивал ее за плечи, но стоило нам усесться, я сразу складывал руки на колени.

Иногда я склонялся к ней, облокотившись на подлокотник ее кресла.

Она сидела прямо, мне не составило бы труда взять ее за руку, обнять за плечи, она сама склонялась к моим невидимым ласкам.

У молодых людей, влюбленных по-настоящему, воображение порой отвергает действие. Воображение предшествует действию, делая его бесполезным.

ЖЮЛЬЕН

Дядя Роже, художник, живший надо мной, часто рассказывал мне о своем брате Себастьяне и о Роже; почти каждый вечер он приходит ко мне и играет на гитаре; он много путешествовал, много любил:

…И в полночь на край долины Увел я жену чужую, А думал – она невинна…¹

Голос исходит из его глотки, как из древесного дупла.

Однажды вечером Роже присел с нами рядом.

В свой черед он взял гитару:

От жизни я жду только жизни – Я б жизнь проскакал на коне!

Я написал его верхом на коне на фоне бурного моря.

¹ Ф.Г. Лорка «Неверная жена», пер. А.Гелескула.

НИНА

Он вошел в мастерскую со своим портфельчиком в руке, я отложила в сторону кисть и вышла к нему.

Он посмотрел на вывеску, которую я малевала: «Парижская ярмарка» и нашел ее красивой.

Умываясь над синей фаянсовой раковиной, я подумала, что сегодня он, быть может, решится.

Мы перебежали бульвар Эдгар-Кине перед мотороллером Аурелиана.

- Хочешь, навестим его? - спросил он.

Я не хотела, откуда у него возникла эта дурацкая мысль? Он играет с огнем.

Мы сели, как обычно в «Кюжа», я пила шоколад, писала письма, он пил пиво и читал «Монд».

Я дала ему посмотреть фотографии – мои, Аурелиана, друзей и подружек; «весьма фотогеничен» – сказал он, просмотрев одну из фотографий Аурелиана.

Наши ноги соприкоснулись под столом, мы посмотрели друг на друга так, как смотрят

после первого поцелуя, первого объятия – прямо в глаза, с легкой улыбкой и задорным блеском во взгляде.

Он показал мне свои фотографии.

Мы вышли, он проводил меня до метро.

По нервному возбуждению, ощущавшемуся в его словах, я поняла, что он хочет произнести что-то важное, и приготовилась его слушать.

На станции Распай он попросил меня проехать с ним до Денфер-Рошро.

Вечер был чудесный: солнце позолотило верхушки деревьев, над Сеной порхали голуби, Роже взял меня за руку.

На эскалаторе я рассказывала ему о своей учебе в колледже, он прижался ко мне, я стояла, опершись на поручень, поставив ногу на верхнюю ступеньку, наши лица почти соприкасались.

Я говорила, чтобы дать ему время подумать еще, но вот мы спустились в переход, ему надо пересаживаться, мы расстались.

Может быть, навсегда.

Он попрощался со мной, спросил, смогу ли я завтра подождать его у входа в ателье, он говорил, что это ему очень важно, я ответила «может быть» и повернулась к нему спиной.

Он рассеяно смотрел мне вслед, мне было горько оттого, что я так сильно его люблю и стыдно оттого, что он выбрал именно меня.

РОЖЕ

Я знал, что она шлюха, то приключение в гостинице открыло мне ее жадную чувственность, неутолимый голод к любовным похождениям.

Но я не судил ее за это, я любил ее тело, ее голос, искренность речи и движений. Когда она долго что-то рассказывала, в ее голосе прорезался легкий английский акцент – в детстве она три года прожила в Англии. Эта интонация приводила меня в восторг, при ее появлении я весь краснел и дрожал – может быть, из-за этого разговор всегда вела она.

Потом я совершенно уверился в ее любви ко мне и ни на секунду не допускал, что она может встречаться с Аурелианом.

Я, не поцеловавший ее ни разу, воображал, что она принадлежит мне, что моя страстная любовь к ней и те жалкие доказательства ответной любви, которую она мне предлагала,

достаточны для того, чтобы она оставалась мне верна, чтобы из ее памяти стерлись слишком свежие воспоминания о связи с Аурелианом.

В своем ослеплении страстью я приписывал Нине чувства, похожие на те, которые я испытывал к ней, и такую же, как у меня, яростную невинность.

Я был разочарован, и больно разочарован. Однажды вечером я застал ее в комнате Аурелиана; со мной был один корсиканский

товарищ, с которым я договорился встретиться.

Как и в первый раз, мне открыл Аурелиан, Нина сидела в тени, на наскоро застеленной кровати; причесываясь, она обратила ко мне блестящий под пышными ресницами взгляд, потом провела ладонью по ложбинке между набухшими грудями и повернулась к зеркалу.

Аурелиан улыбнулся.

- Мы говорили о разных серьезных вещах...
 - Ну, да... и о каких же?
 - О родителях, о жизни, о смерти...

Уж не знаю, что я там ответил – я почти сразу бросился вниз по лестнице, с трудом сдерживая крик.

Аурелиан с моим корсиканским другом бежали за мной по бульвару, но я запрыгнул в автобус; стоя на тротуаре, они махали мне руками. Подошедшая Нина уткнулась лицом в плечо Аурелиана.

Я доехал до Бастилии, на карусели опустилась ночь; я люблю эту пеструю толпу хулиганов, проституток, старых торговцев, я люблю огни каруселей, визг тормозов, запах ванили, ароматные клубы пара, поднимающиеся над вафельницей.

Я шел от карусели к карусели, толстые шлюхи с растрепанными волосами толкали меня под локти, я любил их всех, я шел, мои мысли путались, поглощались одна другой.

Что ж, она вернулась к Аурелиану, снова полюбила его, ей надоело мое молчание, моя скромность, мое тело, тело, столь желанное ею той мартовской ночью и так и оставшееся недоступным.

А может быть, она до сих пор любила меня – и я упрекал себя в трусости и наивности.

Я не обижался на нее, я никогда на нее не обижался.

He спеша, я побрел к Сене, для меня все было потеряно.

БАБУШКА

Он не сел за стол, а бродил в одиночку с тарелкой по парку, он загорел, в его голосе появились грубоватые нотки.

Потом он пришел ко мне на открытую веранду, где уже вились ночные бабочки.

Он взял с полки книгу, «Плеяды» Гобено, и читал до одиннадцати часов.

Я поднялась к себе в девять; я смотрела на него, читающего, в окно, за освещенным лампой стеклом; как я любила его, раскачивающегося на стуле в благоухании ночи!

Он уже лег, а я все стояла у окна, я не могла ни спать, ни читать, я слышала, как он вошел в свою комнату, как сбросил одежду на пол.

Я была счастлива снова ощущать его рядом, я казалась себе сильнее, словно его дух, его мощь вошли в меня; и еще мне казалось, что он нуждается во мне, в этом доме, в детских воспоминаниях. Он ничего не сказал о Нине, но по его взгляду, по тону его последних писем я поняла, что история их любви закончилась печально.

РОЖЕ

Я понемногу стал забывать ее, но лицо каждой случайно встреченной девушки напоминало ее лицо, такое нежное, каждый взгляд напоминал ее взгляд, такой страстный, каждый голос – ее голос, такой чистый и ласковый.

Яхта была достроена, в сентябре мы отплыли в Ирландию. Август я провел в Бретани, с мадмуазель Фулальба. Я люблю море, Бретань – ходишь почти голым, песок на ногах, на щеках, идешь, куда захочешь, возвращаешься в любое время.

Там, словно нарисованные, неся корабли и туманы, впадают в море реки моего детства.

Я читал «Доминика» 1 , ощущая в себе прилив сил, вспоминая о школьном приятеле

¹ Роман Эжена Фроментена (1862).

Фреди, о днях нашей юности, безвозвратно ушедших, но оставивших в памяти яркие воспоминания.

Я читал сцену последней встречи Доминика и Мадлен, пляж был пустынен, начинался прилив.

На краю утеса, возвышавшегося над моей головой, появилась светловолосая девушка в зеленом купальнике.

Пробежав по каменному уступу, она спрыгнула на песок.

Заметив меня издалека, она застыла на фоне камней и прибоя, ее волосы, как языки пламени, развевались над ее головой.

- Вы купаетесь? - крикнула она мне.

Я был в купальнике, но вообще-то было прохладно.

- ...мама запретила мне плавать одной!

И вот она, сжав колени, стоит рядом со мной, смахивая ладонью со лба прядь волос.

- Вы меня не помните?

Нет, я ее не помнил; должно быть, я вырос рядом с ней в этой стране каникул, ведь раньше мы приезжали сюда каждый год; но с тех пор, как я повзрослел, я больше не встречал ее.

Даже когда она назвала мне свое имя и указала дом, в котором живет, я не вспомнил ее.

- Но вы, по крайней мере, искупаетесь со мной?
- Хоть я и не смог вас вспомнить, я готов с вами искупаться; правда, вода мне все же кажется холодноватой.
- Больше всего я люблю купаться на закате, когда солнечные лучи скользят над волнами.
- Да, да, в это время кажется, что они исходят из морских глубин.
- Вы ведь поэт, я знаю, ведь правда, это красиво подводное солнце вечера ну так вы идете?

Мы вошли в море, или, лучше сказать, мы спустились в море, как в долину; она нырнула первая, я оставался стоять по грудь в воде, скрестив руки.

– Вода – как бархат! Вперед! Смелее! У вас дурацкий вид! Теперь уж вам придется искупаться! – кричала она, размахивая руками.

Я пошел глубже в воду, вращая руками, как мельница; водоросли и тяжесть воды мешали мне, я решил нырнуть.

Я поплыл рядом с ней, она перевернулась на спину и, слегка шевеля руками и ногами, предалась созерцанию сумеречного неба.

Ее светлые волосы, как тонкие щупальца, развевались вокруг ее головы в слегка подсвеченной воде.

Она все больше походила на утопленницу.

– Вы уже были влюблены, – сказала она после долгого молчания, когда мы, выйдя из воды, легли на песок в сырых смятых купальниках.

Ее голос сделался вкрадчивым, мягким.

- Да нет, с чего вы взяли?
- Потому что... ну, не знаю, просто вы мне кажетесь таким умным, наверняка вы уже влюблялись, ну, скажите, а вас любили?
- Может быть, не знаю, и потом, мне это не интересно, оставляю этот вопрос на ваше рассмотрение, девушки лучше, чем парни, разбираются в таких делах.
- Вы не очень-то любезны, и все же спасибо за то, что искупались со мной, а как насчет завтра?..
 - Не знаю, может быть...
- Вы мне кажетесь очень робким... я живу в «Бернардьере» с мамой... итак, до завтра,

может быть, спокойной вам ночи, а что вы собираетесь делать сейчас?

Она говорила беспрерывно, мы обменялись рукопожатием перед оградой ее дома, ее мать в саду срезала цветы синеголовника.

Я встречался с Патрицией сначала по вечерам на пляже, потом в полдень, а потом и с утра.

Мы с ней долго гуляли вдоль берега или по полям, она рассказывала мне о своем детстве, о ссорах с матерью, с войны оставшейся вдовой.

Все девушки похожи, она влюбилась в меня до безумия, она желала меня; она захочет отдать мне свое прекрасное тело, я ее оттолкну, она меня забудет.

И все же она мне нравилась, я с радостью обнял бы ее, но боялся, что из этого поцелуя вырастет очередная иллюзия любви.

И все же однажды вечером вид ее покрытого каплями тела в опасной близости смутил меня более, чем обычно, я внезапно обнял ее и сжал ее ладонь.

И тут же ее веки захлопнулись, как у куклы.

ЖЮЛЬЕН

Часто мы любим в любимом одну лишь любовь.

Вот уже месяц, как мы живем в замке Мазелибранд, расположенном в ущелье Рубион.

Вот уже месяц беспрерывно льет дождь, замок возвышается над рекой и черными скалами; внизу – небольшой пляж из грубого песка, заросший по краям тростником; папа целыми днями пишет роман о старом, когда-то нашумевшем, уголовном деле: два молодых парня пришили своего приятеля-еврея; я рисую и пишу «Дни Мазелибранда», девочки купаются, мама читает, сидя в шезлонге на лужайке. Аньес, наша бонна, слушает по радио Ива Монтана, Жак – «Кончерто» Бойэлдьо.

Я получил письмо от Нины:

«Я теперь рядом с вами, в Шомарже, там у нас домик. Если сможешь, приезжай, нет ли у тебя известий от Роже?»

Однажды утром я увидел их с Аурелианом, идущих по лужайке; от неожиданности я выронил кисть.

Мама поднялась и пошла к ним навстречу.

Желтые листья, налетевшие с окрестных лип, сплошным ковром укрыли лужайку, говорю это без всякого романтизма, просто начинается осень, конец каникулам.

Аурелиан, недавно вернувшийся из Греции, снова дома, вот он шагает под руку с Ниной, раб еще больше, чем прежде.

1961

ЭШБИ

ПРОЛОГ

Вы, как и я, проезжали Джефферсон и мчались на бешеной скорости среди спящих лугов к замку леди Друзиллы, днем или ночью, на более или менее бешеной скорости — подстать тому времени, когда вам было пятнадцать лет; вы подставляли свое нежное лицо дню или ночи, царившим над сонными лугами — как жаждала леди Друзилла этих наших лиц, как она впивала их, когда мы приближались к ней со всей испуганной нежностью нашего возраста.

Мы приближались к вам как к спящим лугам, с которых срываются грузные птицы, заставляя учащенно биться сердце — и биение их крыльев похоже на биение сердец.

Лицо над шторкой, натянутой за стеклом, шофер и машина зачарованы пейзажем; из свежести луговых излучин, где стоя умирают под топорами смешанные леса Хулера – каштаны, буки, сосны, башни и орифламмы, из тишины, плавно идущей по мощеной камнями аллее, из улыбок каменных истуканов, выглядывающих из расцвеченной лучами воды, из молчания тенистых мысов рождается предчувствие вашего лица и вашего голоса.

Вы, как и я, пересекли Нормандию, Ла-Манш, Кент, сели в полуденный поезд на Кингс-Кросс; вы встретили море в семь часов вечера, когда берег, прильнувший к воде, темнеет, точно прекрасный смуглый лик.

Для вас, как и для меня, фигура Джонсона в красной ливрее появилась из тени и умножилась в зеркалах маленького вокзала – та же фигура в красной ливрее для каждого.

Что-то вздрогнуло внутри вас, неясная тоска сдавила вам горло, когда вы приблизились к замку. Вы провели пальцами по волосам, и вечер, приглашенный движением вашей ладони, вошел в вашу голову.

Лорд Эшби появлялся, чаще всего в сапогах, в начале главной аллеи. Машина тормозила у буков, в этот миг мы могли, протянув руку к живой изгороди, сорвать пригоршню ягод ежевики, хрустящих на зубах от пыли и солнца, и почувствовать резкий запах животных, шумно дышащих с той стороны. Лорд Эшби, плотно сжав губы и пальцы, стоя неподвижно между деревьями, смахивал мух и ос с бледного лба. Потом он протягивал нам руку и спрашивал: «Ну, Дон, ну, Роджер, ну, Филипп?»

зычным, но глохнущим без отклика во внезапно оголившейся и замершей природе голосом.

Тогда, в этой унылой тишине, раздавались шаги.

«Я не шла к вам навстречу. Вы меня не искали. Я не писала, не говорила ни слова, но все-таки вы здесь. В пять часов пополудни увидела зеленый автомобиль, движущийся по аллее Эшби. Я знала, что вы, дрожа, выходите из машины, у вас пересохло в горле, сердце колотится, ваши руки и лица пахнут листьями. Вы меня не искали, я не пряталась. Странное счастье, родившееся с зарей, толкало меня по главной лестнице, поднимало на террасу. Оттуда, с высоты, я видела, как вы идете бок о бок с Ангусом, я предощущала дорожный запах, пот ваших рук, я готовилась вас любить. Я помню все войны.

Высокие тополя склонились над берегами Эшби. В детстве я мечтала держать всю округу на ладони, проводить пальцем между домиками деревни, гладить деревья и поля. Великанша, но не людоедка.

Вы не искали меня, я повернула голову, убрала руку с перил и спустилась, опасаясь вспышек ваших лиц и ваших голосов, нескромности ваших взглядов и жестов. Вы уже подходили к лебедям. Вы вздрагивали, услышав, как я шагнула на последнюю

ступеньку лестницы. Я была видением. Лебеди, завидев меня, хлопали крыльями, превращаясь в белое облако в углу пруда».

Теперь мы видели ее, уже взволнованную своей высокомерной поступью и покачиванием своих бедер. Леди Друзилла, белый лебедь. Глядя на блестящий затылок лорда Эшби, она, улыбаясь, подходила к нам, прожорливое, сильное насекомое.

Замок Эшби ничем не отличался от других замков Нортумберленда. Он удивлял нас и в то же время раздражал. В нем были запретные, заколоченные наглухо комнаты, мимо которых в жаркий праздный полдень мы проходили, боясь обернуться.

Мои двоюродные братья, помните Эшби. Белая рука леди Друзиллы покоится на руке лорда Эшби. На растущем близ окна дереве кричит сова. Мой язык застрял между зубьев серебряной вилки.

Они говорят, но мы не слышим слов – лишь шум роящихся ос.

Детство Ангуса и Друзиллы

Она овладела этим замком, этим лесом, она овладела мной. «Ангус, – сказала она мне, – пойдем сейчас же осматривать ваши земли, и покупайте теперь только зеленые машины». Она вышла из моих снов и стояла теперь передо мной.

Я Ангус, лорд Эшби.

Пляж в Линдисферне, 1938 год. Меня называли Алешей. Я никогда больше не возвращался в тот дом из стекла, где ткани и листья стремились ко мне прикоснуться, где ветер переворачивал страницы моей книги, когда я читал, лежа в постели, дом окутывающий и удушающий – снаружи и внутри.

На натертом паркете веранды мы вместе лепили фигурки наших предков и наши лица. Зеленая ладонь мадмуазель Фулальба ложилась на наши плечи и уводила к предписанным удовольствиям. Мы жили среди множества респектабельных людей, казавшихся мертвецами.

...этим утром над морем льет дождь. Я вижу во сне окружающие меня белые камни, среди которых невозможно летать; меня будит не мадмуазель Фулальба, а Друзилла, она опускает кончик ракетки на мою руку. Я открываю глаза, вижу Друзиллу, бегущую к двери, дождь и туман в зарослях тамариска. «Друзилла, приходи ко мне после тенниса». Она останавливается перед окном (струи дождя искажают, разрывают ветви и стволы), вся белая, я словно вижу ее впервые. «Нет, я не хочу купаться». Порыв ветра пригибает ветви тамариска и задирает ее короткую юбочку. Я голый лежу под простыней. К чему эти камни и это желание летать? Простыня жжет мою кожу. «Приходи ко мне после тенниса». Она не отвечает. Я не хочу прикасаться к ней, она бежит к двери, к морю. Эта смешная фланель... Я взрываюсь под слишком короткой одеждой. Что-то прорастает во мне, как ядовитый цветок, как горькое растение.

С пляжа Линдесферна море неразличимо. Друзилла плывет за стеной тумана. Я вслед за ней ныряю в туман, и море становится женщиной. В море мы как в постели. С тобой – мужчина, со мной – женщина, море в одно утро

смыло с нас наше детство. Я больше не вернулся в этот дом из стекла.

Мадмуазель Фулальба царила повсюду. Ее серый, бесплотный, как отпечаток в камне, силуэт прорисовывался на стенах, прорастал среди тростника, дрожал на воде бассейнов и прудов. Отец и мать боялись ее: мать потому, что боялась всего на свете, отец – потому, что считал ее дьяволом. Мадмуазель Фулальба была ирландкой. Ее брат, хищник, соблазнитель и развратник, оттяпал у нее ее сказочное наследство. Он выгнал ее из дома. Перебравшись в Шотландию, она побиралась по деревням графа Ангуса, моего отца, потом, в один теплый осенний вечер, подошла к решетке нашего парка. Поскольку она была уродлива, отец не побоялся приставить ее ко мне гувернанткой.

Свой чепец она снимала лишь ночью. Маленький черный чепец с черными же шариками и вуалеткой, скрывавшей ее глаза. Я ее ненавидел, но это был единственный человек, которого я когда-либо боялся.

К Друзилле она была безразлична. Меня же, поскольку я ей сопротивлялся, она упорно пыталась сломать, считая меня исчадием ада;

она никогда не прикасалась ко мне и даже приближалась с опаской, словно опасаясь обжечься.

Друзилла жила в Эшби с восьми лет. Ее родители погибли при пожаре в их замке. На ее руке остался маленький след от ожога. Моя мать сочла своей обязанностью приютить ее. Она показала мне ее на следующее после пожара утро. «Это твоя маленькая кузина Друзилла, постарайся развлечь ее, только не разводи огня». Когда я прижал Друзиллу к себе, из тени вышла мадмуазель Фулальба. Она прошла перед нами с усмешкой на блестящих губах. «Она злая, - пробормотал я на ушко Друзилле, - но она умирает от желания ласкать меня». Мои губы с ее ушка переместились на ее затылок, но мягким движением ладони (словно хотела смахнуть с лица муху) она отодвинула мою щеку от своей. Мы стояли, прислонившись к двери комнаты Венеры, обширного, холодного и голого помещения, где Тесс, моя старшая сестра, умершая в пятнадцать лет от загадочного потрясения, закрывалась со мной, чтобы рассказать о ночах, проведенных с юными конюхами, о поцелуях и ласках, сжигавших ее до рассвета.

Мы переименовали комнату Венеры в Пылающую комнату. На бледно-голубой стене между окнами висел написанный пастелью портрет красивой девушки в голубом с коротко остриженными волосами и черными глазами – умершей в 1820 году в возрасти девятнадцати лет моей прабабушки по материнской линии Иви-Дезир; летним вечером 1815 года она, направив подзорную трубу в сторону Портсмута, увидела мечущегося по палубе «Беллерофонта» плененного Наполеона. Она обожала императора, каждый вечер молилась за него, организовала движение в его защиту и развесила его портреты в комнатах прислуги. Когда в Англию пришло первое, ложное известие о смерти императора, она приказала отслужить молебен, одела всех домашних в траур, закрылась в комнате Венеры и начала писать большую поэму о жизни и смерти героя; три месяца спустя она умерла с пером в руке.

С этого первого объятия Друзилла стала моим единственным другом, моей сообщницей. Уже на следующий день после ее прибытия я смог поцеловать ее. Три года мы не видели ни души. Ни один мальчик, ни одна девочка

не приезжали в замок. Дети фермеров смотрели на нас сквозь решетку, мадмуазель Фулальба отгоняла их. Отец выходил из своей библиотеки лишь по вечерам. Мать проводила дни в бесконечных жалобах, вызовах слуг, в тканье ковров, которые она никогда не заканчивала и которые мы с Друзиллой, развлекаясь, кромсали по ночам; Друзилла в короткой юбочке и я в коротких штанишках стояли рядом на скрипучем полу коридора, она старательно, с упорством опытной стервы, протыкала неоконченный ковер, я держал ее за руку. Войдя в раж от этой работы, мы бросались в объятия друг друга и так, обнявшись, поднимались к дверям наших комнат... Я никогда не любил мою мать, она боялась всего, кроме самой себя. Отца я совсем не знал: он писал и переписывал в альбомы, которые прятал за книжными полками, наставления для грядущих поколений. Он обращался ко мне только для того, чтобы я позвал его лакея – что я частенько намеренно забывал сделать.

Мои глаза, душа, все мои силы принадлежали Друзилле. Мы никогда не разлучались. Иногда сила моей любви к ней пугала меня. Когда Друзилла покидала меня на минуту, чтобы

покопаться в шкафу или посмотреться в зеркало, я встречал ее вновь с бешено колотящимся сердцем. Тогда ее улыбка причиняла мне боль, еще большую боль я испытывал, улыбаясь в ответ.

Уже давно я мог ласкать ее, не опасаясь напугать или вызвать ее гнев, не опасаясь, что она будет вырываться или заболеет. Она слишком скучала, чтобы отказать мне в удовольствии. Я обрел своего демона, я верил в нее больше, чем в себя. Мне являлись видения прекрасных женщин, с наступлением ночи зажатых в ладонях темных дворов, прекрасных женщин, пятящихся к хранящим дневное тепло стенам домов. Я набрасывался на них, ветер вздымал пыль с мощеного камнем двора к нашим губам, все женщины города стонали, но я был царем.

В тринадцать лет моя жизнь виделась мне красной, с филигранным клеймом Сатаны. Я часто кричал об этом мадмуазель Фулальба; тогда она убегала в сад, и бронзовые булавки, которыми она закалывала волосы, высекали искры из стен. Все прятались, кони, сбросив седоков, скакали в поля. Мать

вжимала Друзиллу в свой кринолин, отец закрывал на два оборота ключа дверь своей библиотеки. Я оставался один в ярко освещенной комнате; стены, мебель, картины бледнели и расплывались, теряя форму, я сам переставал отбрасывать тень. Зубы мои стучали, ветер хлопал ставнями, шевелил белые призраки комнаты, мой живот сжигало пламя, края оконных стекол индевели, и я прижимался к ним губами. Тогда все снова оживало, мадмуазель Фулальба вылезала из кустов, Друзилла – из кринолина моей матери, отец – из своей библиотеки.

Я вовсе не одержим, я непринужденно элегичен.

Когда Друзилла раздевалась передо мной, я весь дрожал, она дрожала тоже, я не помнил уже, кто она, как ее зовут, сколько ей лет. «Почему бы тебе тоже не раздеться? – спрашивала она. – Ты боишься?» Я смотрел на нее, не двигаясь. Втолкнув ее в ад, я оставлял ее одну за порогом. Вначале я даже развлекался, выбрасывая ее одежду из окна комнаты Венеры и закрывая ее там одну, голую. Тогда я приникал глазом к замочной скважине и смотрел, как она плачет посреди комнаты, прижав одну

ладонь ко лбу, другую – к животу, потом подходит к окну, кружева портьеры касаются ее бедер и плеч, тут она заворачивается в ткань и воспроизводит танцевальное па.

Чуть позже эта уловка стала прелюдией к игре. Но однажды мадмуазель Фулальба застукала меня у двери Пылающей комнаты: Друзилла, ощущая себя желанной, похотливо прильнула к двери, так, что я чувствовал запах ее нагретого солнцем тела.

Мадмуазель Фулальба положила свою всегда холодную ладонь на мой затылок. Я закричал: «Не трогайте меня! Вы знаете, что вы мне омерзительны!» Она не ответила, и я выпрямился перед ней. «Вам только тринадцать лет, но вы уже сущий демон, - ее губы дрожали, кровь прилила к ее щекам, - да, да, демон, демон!» Она приказала отдать ей ключ от комнаты. За дверью Друзилла запела шотландскую колыбельную. «Дайте сюда этот ключ!» Из главной галереи, носящей имя Аполлона, доносился шум деревьев, похожий на шум воды. «Вы никогда не получите его, Фулальба!» Тогда она схватила меня за руку и запустила ладонь в карман моих серых фланелевых штанов. «Не трогайте меня, не трогайте меня! Как вам не стыдно?» Громко смеясь, я оттолкнул ее к стене; отцепившись от меня, она упала на мраморный пол. Когда я наклонился над ее лицом, она дернула шеей и одна из ее заколок расцарапала мне щеку. Друзилла замолчала, и мой смех угас. Мадмуазель Фулальба медленно поднялась и пошла прочь по галерее. Я открыл дверь. Друзилла, лежа на полу, напевала колыбельную, раскинув руки и ноги, обернув вокруг бедер оторванный от портьеры кусок ткани. Я подбежал и склонился над ней. Она улыбнулась, обхватила мою голову ладонями, поднесла ее к своим губам и стала слизывать с моей щеки кровь. Ее рот был красен, как хищная анемона.

Мы презирали гостей моей матери, богомолок и богомольцев, которые, дозволяй им это закон, с радостью секли бы своих слуг. Мы подкладывали усыпленных хлороформом больших пауков под шитые золотом скатерти, втыкали гвозди острием вверх в сиденья кресел, бросали жаб под столы. Через окошко в замковой башне мы наблюдали за прибытием гостей. Когда они выходили из авто, мы швыряли в них комья грязи, посыпали мукой,

передразнивали их голоса. Мадмуазель Фулальба затыкала уши, мать падала в обморок, гости, отряхивая волосы, гримасничали, пытаясь изобразить улыбки. Придя в себя, мать робко выражала свое недовольство Фулальба, та поднималась, чтобы помыть нас и переодеть к обеду. Гвозди благополучно втыкались в праздные зады, жабы забирались на ступни, пауки лопались под скатертью. Мы с Друзиллой оставались безучастными. Раненные, дрожащие от испуга, с трудом сдерживая позывы рвоты, друзья моей матери заводили старую песню об ужасных новых нравах и временах, о вреде уравнения классов, разговоры, под которые бесстрастные слуги молча меняли блюда. Отец молчал, улыбался домашним, размышляя о библиотеке и своем прерванном труде.

Друзилла уехала в колледж. От меня же, по причине моего дурного глаза, отказались все директора, и я остался в Эшби под неусыпным наблюдением мадмуазель Фулальба. В первые дни я не желал ее видеть; Джонсон, наш садовник, приносил еду в мою комнату. Моя мать в салоне изливала душу пастору и испрашивала у него совета касательно моего образования. Я кричал, кидался на стены, кусал себе руки до крови. Голый, я извивался на полу. Я засыпал лишь под утро, когда в мутном ноябрьском рассвете фермеры, спотыкаясь, группками выходили из своих лачуг. Однажды, когда я наблюдал, как, тяжело шагая, они бредут к лесу, девочка в капюшоне, следующая за ними, обернулась ко мне, и, несмотря на туман, я увидел улыбку на ее бледном лице. Я не пожелал улыбнуться ей в ответ, но весь день я думал о ней и ждал ее с нетерпением. Назавтра, когда она проходила под окном, я помахал ей рукой. По ее лицу стекали капельки росы; волосы ее были светлы, она несла утро на своих плечах.

Я решил сдаться. Утром я спустился в галерею Аполлона; мадмуазель Фулальба подбежала ко мне и мертвой хваткой вцепилась в рукав моего пиджака. «Спокойно, Фулальба, – процедил я. – Я не собираюсь бежать».

Тут же из салона выскочила моя мать и обхватила меня руками; сопровождающий ее пастор начертал на моем лбу крест: «Святой отец, вы полагаете, что я одержим дьяволом?»

Он откололся от группы и выбежал в сад. Меня отвели в салон, зачитали мне письмо от Друзиллы: она счастлива в своем новом окружении и не спрашивает новостей обо мне.

Видя, что я перебесился, мать пригласила нескольких сыновей и дочерей окрестных аристократов. Дети явились в сопровождении своих гувернеров, те, под предводительством мадмуазель Фулальба, затеяли игру в прятки. Мы разбрелись по замку и по парку. Некоторые спрятались так основательно, что заблудились. С самого начала я обратил внимание на очень красивую девочку, от которой все держались несколько в стороне. После игры, когда мы сели за накрытый под кедрами стол,

заставленный пирожными и гранатовым сиропом, я подошел к одинокой девочке, которой помогала есть и пить заботливая молодая гувернантка, и положил ладонь на ее загорелую руку. Другие дети удивленно уставились на меня. Я пригласил девочку прогуляться по парку. Гувернантка, несмотря на подаваемые ей знаки, отпустила нас.

Я увлек мою новую подружку под магнолии, хотел было взять ее за правую руку, чтобы помочь перебраться через канаву, и тут заметил, что у нее нет правой кисти. Сердце мое сжалось, и я принялся вслух проклинать мою мать и других детей. Девочка слушала меня молча. Во все время моего монолога тень мадмуазель Фулальба дрожала над водой канавы.

Мы побежали к оранжерее и там заперлись на ключ. Мы сели, прижавшись друг к другу, на деревянную скамью. Мадмуазель Фулальба стучала в стекло. Я встал, подобрал с земли рукоятку косы и резко открыл дверь. Мадмуазель Фулальба с криком метнулась прочь, обхватив руками голову. Я гнался за ней почти до канавы, где она едва не упала в воду, потом вернулся в оранжерею: девочка ждала меня, рисуя на утоптанной земле круги.

- Ты ей не сделал больно, я надеюсь? спросила она, поднимая на меня свои ясные глаза.
- Пока нет, но в следующий раз... Как тебя зовут?
 - Дороти де Карневон.
 - Ты самая красивая из всех.
- Ты говоришь это из-за моей руки. Тебе меня жалко. Девочка без руки – это тебя втайне очаровывает.

Я прижал ее к себе, тогда она тихонько заплакала. Я сказал:

- Ты так же красива, как Друзилла.

Она тут же напряглась и отстранилась от меня:

- Говорят, она одержимая. Это правда?
- Кто тебе сказал?
- Флосс Мелифонт.
- Это я одержим ею.

Потом мы услышали шум мотора, за стеклом появилась молодая гувернантка, она постучала. Я сильнее прижал к себе Дороти, прижался губами к ее затылку, она хотела вырваться, но я крепко держал ее и искал губами ее рот. Ее платье треснуло на плече, мои пальцы пробрались в разрыв. Дороти, громко смеясь, вырвалась, убежала, уткнулась в платье своей

гувернантки, та открыла дверь и подошла ко мне, как доброе животное. Положив ладони на наши головы, она повела нас к стоянке машин. Мадмуазель Фулальба, прямая и черная, стояла на лестнице; когда я к ней приблизился, она схватила меня за руку. Машина Дороти тронулась с места. Дороти помахала мне рукой, но тут же убрала ее – это была покалеченная рука – и покраснела; мои глаза наполнились слезами, я вырвался, подбежал к машине, прижался губами к стеклу; Дороти спрятала руку под пальто. Внезапно, очень быстро, она прижала ладонь к стеклу, к тому месту, где были мои губы, тут же убрала ее и прижала к своим губам; машина уехала.

Вечером, за обедом, мадмуазель Фулальба сверлила меня глазами: она казалась исполненной ревности, зависти, мести. Моя мать, уверовавшая в мое исцеление, долго обнимала меня и гладила по голове. Отец смотрел на меня со скрытой гордостью. Я уснул, и мне приснилось, что рука у Дороти золотая, а вены на ней – из кораллов.

Друзилла ни разу не написала мне из своего монастыря. Когда через три года она

выпрыгнула из машины и побежала к лестнице, счастливая, трепетная, я увидел, что она совсем не изменилась - она и не могла измениться. Но я не вышел к ней навстречу. Я остался стоять, облокотившись на подоконник, в Пылающей комнате, горло мое было стиснуто, сердце колотилось. Я слышал крики в галерее, шорох пальто и чемоданов, звук поцелуев, удивленные восклицания. Потом ее шаги по лестнице, по галерее Аполлона. Дверь открылась, она бросилась ко мне, покрыла меня поцелуями и слезами. Как прежде, она, не раздеваясь, легла на флорентийскую плитку под портретом Иви-Дезир, я пристроился рядом, и так мы лежали до вечера, смеясь, плача, перекатываясь по полу, сминая одежду, перешептываясь, задыхаясь, обнимаясь с новым пылом и неведомой прежде свободой. Мадмуазель Фулальба звала нас ужинать. Несколько раз мы слышали, как она скребется в дверь. Потом настала тишина, и Друзилла стала моей.

Мне было шестнадцать лет. Друзилла носила деревенские платья из грубой ткани с широким корсетом. Летом я видел подъем ее груди. Я любил гладить кончиками пальцев горячую

кожу, оставляя ладонь на прохладной ткани. Друзилла смотрела мне в глаза и, когда мои пальцы перемещались, опускала веки с влажными ресницами. Потом она подносила мою ладонь к своим губам. «Ангус, – шептала она с закрытыми глазами, – когда мы остановимся? Когда будет возможен хотя бы один день без желания? Моя мать видит нас, Ангус». Потом она поднимала веки, белки ее глаз сверкали в тени ее лба, и я видел, как она улыбается.

На каникулах мы оставляли отца с его виски, мать – с ее коврами, мадмуазель Фулальба – с ее невысказанными желаниями и уезжали на юг. Хозяева гостиниц удивлялись нашей молодости. Пейзажи запрыгивали в окно купе.

Мы не обедали у аристократов. У каждого из них нас ожидало письмо с прописями мадмуазель Фулальба. Но мы не обедали у них.

Только на склоне дня мы приближались к их молчаливым дворцам; иногда утром, на грани дня и ночи, мы оказывались в грязных, гнилых, безымянных местах, где-то в глубинах города.

Под прикосновением наших ладоней эти дворцы цвета морской волны распускались в лунной ночи, и мы следовали легкими шагами

за заносчивыми разворотами их фасадов, углов и башен.

Мы спали в отелях; я заходил в комнату Друзиллы и ложился рядом с ней, не касаясь ее, скрестив руки под головой. Она выходила из ванны. От ее рук, от ее бедер поднимался пар. Ей было пятнадцать лет. Когда мы мечтали, ее глаза подергивались дымкой, а веки и ресницы блестели. Моя ладонь взлетала к ее рту, накрывала губы, я поворачивался к ней, ласкал ее грудь и живот. Ее ладонь следовала за моей. Каждую ночь те же жесты, похожие на удары ножей, а за ними нас поджидал стыд. В полдень мы погружались в прохладу церквей и склонялись с искренним раскаяньем перед фигурами святых. Но по мере того, как из глубины дворов и атриумов распространялся мрак, наши губы увлажнялись, наши груди смыкались в нетерпении. Тогда мы бежали к отелю, задыхаясь, бросались на кровать, я закрывал ладонью ее рот, раздвигал коленями ее ноги; запах пота, пыль, дыхание; ее рука, ее пальцы, ее губы скользили по мне, как языки пламени. Иногда Друзилла просила меня оставить ее в покое. Чего бы только не дала мадмуазель Фулальба, чтобы ласкать наши юные тела – еще этим летом в Линдисферне она настаивала на том, что должна присутствовать при нашем купании.

Летом в Линдисферне, зимой в Эшби, мы ездили верхом. Друзилла мчалась галопом вдоль моря по песку или снегу, мы взбирались на холмы Шевиота на самой границе Шотландии. Зимой лошади скользили по замерзшим болотам; в тростнике и в черном вереске мы находили окоченевших птиц; Друзилла дышала на них, прикладывала к щеке. Подо льдом блестели струи воды.

Летом кони били копытами по сухим торфяникам; сквозь тростники мы видели купающихся загорелых крестьянских детей и порхающих над их плечами зимородков; мы рассекали овечьи стада, и пастухи свистели вслед Друзилле; копыта коней сминали кузнечиков и золотые бутоны цветов. До самой Голландии море было объято блеском.

Друзилла

Во время войны Друзилла была санитаркой на восточном фронте; там она подружилась с француженкой Клод Шевелюр, дочерью врача из горного массива в центре Франции. После войны она гостила в их деревне. Я был ранен в бедро в лесу под Соммой. Мы вернулись в Эшби в один день, и все пошло по-старому. Во время путешествия по югу Италии мы решили пожениться. Мы обвенчались по возвращении в Эшби.

Отец умер на следующий после церемонии день. Мать пережила его на два года; сразу после ее смерти я вышвырнул Фулальба, запретив слугам переносить ее багаж. Два дня она перетаскивала чемоданы из замка на вокзал; мои слуги передали мою просьбу деревенским. Она пересекла Ла-Манш и устроилась гувернанткой в Брамаре, у Шевелюров.

Оказавшись одни, мы рассчитали самых непорочных из наших слуг. Оставшихся одели

в голубой королевский бархат. Мы оставили на месте Джонсона, не навязывая ему новую ливрею. Он обосновался в небольшом красном павильоне в глубине парка, среди оленей и косуль. Когда мы встречались с ним в парке, он прятался за деревья. Я передавал ему мои распоряжения через слуг.

Мы много принимали. Все наши слуги были молоды. Со скромной небрежностью они рыскали вокруг стола, за голыми плечами и блестящими прическами. Гости, заключенные в кольцо юной плоти, вздрагивали и оборачивались. В руках Друзиллы блестело серебро. Золото чаш и пурпур плодов дрожали в темных углах зала. Вода стыла в вазах под струящимися окнами. Мрак таился внутри плода.

Друзилла говорила мало, много улыбалась. Она отдавала приказы, читала, вскакивала в седло, рыбачила, философствовала, заигрывала со слугами, охотилась, изводила горничных, заставляла краснеть юных лакеев, хлестала конюхов, припадала в слезах к стопам пастора, мучила в погребе поварят, преследовала в зарослях акации Джонсона, молилась вечером, молилась утром, писала стихи, столь же нескладные, как ее душа, расстраивала пианино,

расхаживала голой два дня кряду, копалась в земле, писала акварели, ела пряники, каталась на коньках в болотах Упсала'О рядом с игрушечными деревеньками; всегда раскрасневшаяся от бега, всегда горячая в моих объятиях, горячая и раскрасневшаяся, чтобы наказывать лакеев и расправлять кружева перед приездом гостей. Мы никогда не расставались, даже для того, чтобы изменять друг другу. Жизнь в Эшби стала братской; окна хлопали, голоса звенели, орифламмы, скользя, развевались за ставнями. Чувства грусти и отвращения могли объять нас на заре, но мы никогда не делились ими; упорное молчание, надменные взгляды, несколько прикосновений - и мы снова становились необходимы друг другу. Присутствие детей могло все изменить, смешать все карты. Мы не терпели их в замке.

Летом нас иногда навещала Клод Шевелюр. Я оставлял ее наедине с Друзиллой; до самой ночи они блуждали в дюнах; Клод ничему не удивлялась, а мне не о чем было с ней говорить, рядом с ней я казался ребенком. Клод во время войны была очень храброй, она видела все, обо всем догадывалась, ничего нельзя было от нее утаить. Она обвела взглядом слуг и

поняла их молчание. Друзилла позволяла ей заботиться о себе. Клод смутила нашу невинность, поколебала нашу распущенность.

Мы ждали ее отъезда, чтобы снова жить голышом. Вернувшись с вокзала, где мы ее оставили, мы вбежали в Пылающую комнату и разделись перед портретом Иви-Дезир. Когда мы вышли, по галерее разлилось голубое сияние, шорох подошв затаился за колоннами, в верхних этажах спрятался приглушенный смех, в погребе поднялась возня. Повсюду, на столах, на стульях, на полу, лежали томики французских философов, забытые Клод –слуги боялись к ним прикасаться.

За обедом мы бросались виноградинами, лакей собирал их с пола и держал в ладони, пока Друзилла, смеясь, не приказала ему выбросить их в окно.

Одна ягода закатилась под кресло Друзиллы; когда лакей, присев на корточки, шарил рукой по полу, она, не сводя с меня глаз, обхватила его голову и прижала ее к своему голому животу; снова раздался ее звонкий смех. Чтото похожее на ревность шевельнулось во мне; юноша, краснея, поднялся, ладонь Друзиллы скользнула по его затылку и плечу. Наши слуги не воровали, они служили нам, как животные, сохраняя тайну нашей жизни, и оставались холодными перед блистательной наготой Друзиллы. Вечером, после ужина, мы слышали возню в их комнатах под крышей.

Мы страшились мгновений, когда тело и разум, устав от игры, разрушали притворство нашей невинности. То есть жили в подлинном страхе Божьем.

В нашей жизни не было места расчету, нами руководили скорее вдохновенное предчувствие и плодотворное наитие. Зло было нашей внутренней потребностью. Наше лицемерие было просто сменой личин, веселой клоунадой.

Очень скоро Шевелюры стали посылать к нам на лето своих детей: они немного практиковались в английском, возвращались слегка взволнованными и следующим летом приезжали снова с подарками. Мы гуляли с ними по английским деревням, по островам архипелага, по музеям и арсеналам. Их было пятеро: нежный Дональбайн, три его брата и Роджер, племянник мадмуазель Фулальба, которого воспитывала старшая мадам Шевелюр. Маленький Дональбайн так любил лебедей Эшби! Друзилла обожала его, он немного смущал ее непорочностью своих глаз.

Маленький Дональбайн был исключительной личностью: он верил только в Бога. Внутри него подрастал Бонапарт: картинность жестов, девичья стыдливость, яростное целомудрие, натянутая важность, простодушие, утренняя ясность мыслей были в нем очаровательны. Они с Друзиллой вели бесконечные беседы о Бальзаке, он писал стихи и читал их

по вечерам перед открытыми ставнями, и его голос смешивался со звуками земли и моря. Друзилла слушала его, открыв рот. Она не пыталась искушать его ни словом, ни жестом. Иногда она подстерегала его в коридоре; поравнявшись с ней, он вскрикивал и разражался громким смехом, но она не привлекала его к себе. В дождливые дни сквозь испещренное дождевыми струями стекло я видел, как они, взявшись за руки, прыгают через лужи террасы. Дональбайну было четырнадцать, Друзилле почти на десять лет больше.

Он передал ей свою любовь к Моцарту, посвятил ее в солнечную мистерию. Друзилла, моментально соблазненная, вся отдалась свету. Маленький Дональбайн по малейшим намекам угадывал нашу подлинную жизнь. Но он был на нашей стороне. Однажды вечером он наивно признался, что не может полюбить девушкуровесницу, и я заподозрил его в тайной страсти к Друзилле. Он прятал свою интрижку самым естественным образом. Слуги тоже были им очарованы. Однажды вечером они пригласили его к себе наверх, чтобы показать совиные гнезда. Мы взяли его с собой в Эдинбург; он был неутомим, всегда бежал впереди нас по залам замков и музеев, боясь что-либо упустить, плакал перед короной Марии Стюарт, стоял перед полотнами Гогена с пакетиком жареной картошки, был раздражен большую часть дня, вздыхал о Елисейских полях на Принс-стрит и о Версале в замке Холируд, пинал собак, искал в карманах шесть монет, чтобы купить шерстяной килт, показывал нам кукиш, говоря о Жанне д'Арк и Наполеоне. К вечеру он умолкал, осовело хлопая ресницами, спокойно и важно позволяя вести себя куда угодно и любить без злобы и презренья.

Я думаю, что маленький Дональбайн был немного притворщик, но можно ли винить его за это?

Он не любил собрания, в которых не являлся главным действующим лицом. Тогда он умолкал, стремился уйти, чувствовал себя виноватым и бывал несносным. Он ждал в нетерпении, грызя удила, когда Друзилла останется одна, чтобы дорассказать ей историю. Он знал, что ей нравится его слушать, он был для нее человеком, понятым до конца – первым в ее жизни.

Поскольку к нему, столь юному, все относились с нежностью, он не мог как следует спрятаться и жил в полной физической свободе.

Тем не менее, ему не случалось краснеть за приступы деликатности и порывы милосердия, вернее сказать, ничто в нем не могло им противоречить. Итак, он был счастлив в любви.

Я тоже подпал под его обаяние. Я стал сравнивать свою юность с его детством, я тоже возжаждал мира и света. Но очень скоро вновь утвердился в угрюмой гордости. Впрочем, чувства мои были чисты.

Я видел, как Друзилла мало-помалу привязывается к этому ребенку, ищет его, смущает его поэтическое затворничество, провоцирует на лесть или злословие. Именно тогда у нее появился спазматический смешок, прилипший к ней до самой смерти. Дональбайну нравился этот звук, помимо его воли вызывавший желание. Поскольку у его матери был очень красивый голос, он вообще был чрезвычайно чувствителен к звукам; прежде других воздействий они могли возбудить его чувства.

Когда Друзилла вприпрыжку бежала за Дональбайном по аллеям и коридорам, я следил за ними, переходя от окна к окну. Иногда я внезапно вздрагивал. Когда я терял их из виду, перед моими глазами открывалась пустота, утыканная углами фасада и дрожащими ветками изгороди.

Так мы дожили до зимы. Друзилла боялась холода, грустила у окна, отдавала жестокие приказы, била вазы, желала исповедаться. Она не была создана для зимы. Она избегала самоанализа, глубокого взгляда и безжалостных слов. Провожая осень, Друзилла надевала рыжие кожаные сапоги и шла на прогулку «вокруг дома», то есть нарезала вокруг замка круги радиусом километра три. По возращении она, громко смеясь, падала в кресло; она пахла, как мокрая ветка. Я подходил к ней, она срывалась с места и убегала в галерею. Я садился в еще не остывшее кресло и прикладывался губами к влажной от дождя и тумана коже, пахнущей смолистой корой. Потом вставал и шел по галерее к Пылающей комнате. Я входил, Друзилла, одетая, лежала на полу, раздвинув ноги в сапогах, она улыбалась, ее веки слегка дрожали. Я ложился на нее, она отталкивала меня ладонями, отворачивала голову, но я прочно лежал на ней и мог любить ее,

как саму Землю – ласкать, взрывать и бояться ее.

Порой друзья – или те, кто считал себя таковыми - упрекали нас в эгоизме. «Ваша жизнь – пустыня», – говорили они, и мы изображали раскаяние. Надо было вечно притворяться, веселиться наперекор себе, иначе мы бы пропали. Каждое утро, чтобы расстроить козни дня, я будил Друзиллу новой изысканной лаской. Потом начиналась игра: гонки полураздетыми по коридорам к саду, дикие крики в кустах, молчаливый бег плечо к плечу мимо лакеев и слуг. Мы возвращались в комнату, наши ноги и колени были утыканы иглами и расцарапаны острыми камнями. Мы не позволяли тоске захватить нас врасплох. Мы исполняли этот обряд, чтобы ни во что не углубляться, не останавливаться ни перед чем, что могло бы пробудить отвращение или жалость. Наша жизнь состояла в постоянном поиске новых наслаждений. Я всегда старался утолить любое желание, как только оно появлялось. Отказ от чувственного наслаждения из моральных соображений я расценивал как трусость. Другие считают эту измену себе смелостью.

С каждым утром, с каждым днем Друзилла казалась мне все более прекрасной и желанной. Вытянувшись на кресле, на постели, на ковре, она обретала гибкость и выразительность пейзажа. Я задыхался от желания. Если бы я дотронулся до нее в эту минуту, я убил бы ее. Она смотрела на меня своими угольно-черными глазами и улыбалась, немного откинувшись назад; ее ладони скользили вверх-вниз по ее бедрам. Я выбегал в сад. Лил дождь. Я шел, вытянув руки перед собой, к освещенному вспышками молний лугу. Ветви, как крылья птиц, скользили по моим ногам. Мокрые псы дышали паром у земли. Когда я гладил их, они урчали, опустив головы. Приложившись губами к своим ладоням, я ощущал на них последнее прикосновение Друзиллы, смешавшееся с запахами мокрой собачьей шерсти. Еще долго потом, спокойно лежа рядом, Друзилла пахла псиной и дождем. Лакеи и слуги терлись о нашу дверь, как распаленные псы.

Я часто виделся с Дороти де Карневон. Друзилла еще не была с ней знакома. Каждый раз, когда я рассказывал ей о маленькой калеке, Друзилла отворачивалась или отходила прочь. Она как будто ревновала к сохраненной мною привязанности к Дороти, ревновала к нежным воспоминаниям, которые уводили меня от нее и которым было суждено разрушить наш союз.

Она увидела ее впервые однажды вечером, когда мы прогуливались близ пруда Инвернесс. На невысоком холме, возвышающемся над прудом, разбили свой табор цыгане. Из высокой травы доносились их крики и ржание их лошадей. Несмотря на прохладный ветерок, Друзилла решила искупаться. Мы плескались с полчаса, вокруг наших ног заплетались стебли кувшинок, Друзилла выпрыгивала из воды, срывала жесткие желтые цветы, сплетала их в венки; вдали, в тростниках, утки взбивали крыльями серую воду. Друзилла смеялась,

мы плавали взапуски, и наши крики смешивались с криками цыган на холме. Они разожгли костры; тяжелый плотный дым спускался к пруду, цепляясь за задвижки шлюза.

Выйдя на берег, Друзилла прижалась мокрыми волосами к моему плечу. В это время по дороге за нашими спинами пробежала девочка в пестром платье. Ее детское тело венчала голова взрослой женщины. Не обернувшись в нашу сторону, она просеменила босыми черными ногами в направлении шлюза. С вершины холма ей махали руками. Друзилла оделась, а я подставил влажную спину легкому ветерку. В бору стреляли из ружей, из кустов доносился треск. Друзилла вновь прижалась ко мне. О Друзилла, твои плечи, груди, запястья... какая грусть, какое счастье!..

Пока, все еще не одетый, я стоял на ветру, по дороге к шлюзу пробежали трое мальчиков. На вид им было лет по тринадцать: смуглые, голые по пояс, босые, в чересчур широких засученных штанах; в их темные волосы вплелись сухие травинки. Они громко кричали вслед девочке: «Блошка! Блошка! Подожди!» Возле шлюза их хриплые выкрики сменились угрозами и оскорблениями. Едва они скрылись

из виду, до нас донеслись звуки оплеух и рыдания. Они вышли из зарослей, толкая перед собой вырывающуюся и визжащую девочку с головой взрослой женщины. Взъерошенные, раскрасневшиеся мальчики колотили ее кулаками.

Друзилла смотрела, закусив губу, я чувствовал, что она готова кинуться на них. Один из мальчиков бросил на нас взгляд, полный ненависти и страха. Я инстинктивно сжал пальцами руку поднимающейся Друзиллы, она снова опустилась на землю подле меня, и я крепко обнял ее. Дети удалялись, окруженные тучами комаров и диких пчел.

Друзилла еще дрожала в моих объятиях, когда я заметил идущую к нам Дороти, держащуюся за руку Флосса Мелифонта. Я сказал об этом Друзилле, но она не обратила внимания на мои слова, захваченная впечатлением от только что прошедших перед нами цыганят. Без сомнения, несмотря на сумеречное расположение духа, она не могла не отметить красоту этих юных кочевников; теперь ее грусть несла на себе отпечаток их лиц, прекрасных в своей первобытной дикости.

Заметив меня, Дороти хотела было свернуть, но я крикнул, что узнал ее и попросил их

спуститься к нам. Пока Друзилла выспрашивала меня, ради какого праздника съехались сюда цыгане, Флосс и Дороти предстали перед нами – он стройный, в потертых джинсах, она в летнем, желтом с черным, платье.

Его я ненавидел с детства: он был глуп, неуклюж, ограничен и доверчив. Мы с друзьями закрывали его в парнике, предварительно уверив его, что там поселился дьявол; потом, раздевшись донага, плясали перед ним в темноте под ритмы, которые мы называли «индейскими». Он сначала зажмуривался, потом приоткрывал глаза и таращился на нас; его большие мясистые губы кривились в глуповатой улыбке. Чрезвычайно набожный, он повсюду таскал в кармане молитвенник, из которого мы при всяком удобном случае вырывали страницу-две. С возрастом он приобрел некоторую уверенность в себе, но продолжал называть Друзиллу «колдуньей». Неспособный мыслить самостоятельно, он записывался в кружки, участвовал в лотереях, писал статьи для приходского листка, где послушно ругал все, что ругал пастор и хвалил то, что хвалил он; короче говоря, Флосс Мелифонт был дурак.

Пережив прыщавую юность, он понемногу обрел более-менее приятную наружность, хотя и оставался несколько рыхловат; юные богомолки сделали его своим кавалером. Как оказалась Дороти в тот вечер в его компании?.. встреча, случайная встреча.

Несколько минут мы поговорили на общие темы, потом Друзилла неожиданно затеяла игру в мяч. До поры она молчала, только бросала беглые взгляды на лицо, ладонь, на покалеченную руку Дороти. Я боялся ее молчания. Эти взгляды, резкие, как вспышки молнии, предвещали новую бурю, новые пытки.

Посреди игры Друзилла, повернувшись к Дороти, спросила ее:

- Почему вы играете одной рукой?
- Друзилла! оборвал я ее.
- Вы прекрасно знаете, что у меня нет правой кисти, ответила Дороти.

Но Друзилла словно и не слышала нас.

– Ты никогда не говорил мне, что она – инвалид; это придает вам еще большее очарование, не правда ли, Ангус? Вы единственный человек на свете, к которому он испытывает нечто вроде сострадания. Но что делает с вами

господин Мелифонт? Может быть, он алчет исцелить вас с Божьей помощью? Если бы господин Мелифонт был Великим Инквизитором, он послал бы меня на костер; но калеки – тоже немного колдуньи. В огонь!

- Друзилла, - произнес я снова.

Флосс Мелифонт, покраснев, хотел увести Дороти, но та, как зачарованная, неподвижно стояла перед нами...

– Господин Мелифонт – прекрасная партия, он посвятит всего себя проповеди Евангелия, у вас будет полон дом славных безруких мелифонтиков. Самопожертвование! Господин Мелифонт, как, должно быть, отвратительна ласка холодной твердой культи, словно прикосновение обезглавленной змеи...

Не ответив ни словом, ни криком, девушка и юноша отвернулись от нас и убежали прочь. Пошел дождь, Друзилла задыхалась в моих объятиях. Я поднялся, чтобы одеться.

- Ты уходишь? спросила она внезапно. –
 Не оставляй меня одну.
 - Чего тебе бояться?
 - Ты знаешь, ты боишься того же, что и я.
 - Бояться можно только страха.

Лаура Пистилл торговала пластинками в центре города. Ей было под восемьдесят. Ее муж погиб на войне с бурами в 1903 году.

Лаура была приглашена на чай к пастору Эгботтому. Сэр Эдвард Пистилл, служивший в полку, которым командовал мой отец, играл на пианино у завешенного шторами окна фрагмент из «Орфея» Монтеверди.

Вошел подкупленный бурами негр и вонзил в его спину нож. Сэр Пистилл вскрикнул, его пальцы оторвались от клавиатуры, он упал навзничь, и от этого нож вошел еще глубже.

Обезумевший негр вместо того, чтобы бежать, спрятался в шкафу. Спустя некоторое время денщик и несколько подоспевших солдат вытащили его оттуда.

Не поднимая шума, они выволокли его в сад и привязали к эвкалипту, потом выкололи ему глаза. Раздев его, они развлекались, вырезая на

его коже кончиками штыков непристойные фразы и рисунки. Негр кричал – они заткнули ему рот кляпом.

С наступлением ночи они оттащили его в кусты и крепко привязали к стволу высохшего дерева близ заболоченного ручья. Потом пришли в лагерь. Лаура еще не вернулась. Солдаты подняли тревогу. Полковник Эшби приказал обыскать дом и сад. У подножия эвкалипта нашли пятна засохшей крови. Пришедшая Лаура упала в обморок перед пианино.

Три дня спустя денщик с товарищами принесли негру воды. Негр ожил. Тогда они срубили дерево, к которому он был привязан, и на веревках спустили его в реку. Негр закричал, стараясь вырваться из пут.

Из воды вынырнул блестящий гавиал и откусил ему ногу. Негр, изогнувшись, вытянул руки к розовому небу. Мужчины, взявшись за руки и смеясь, пустились в пляс на красной глине, то и дело отхлебывая из бутылки.

От негра остался обрубок плоти, привязанный к обрубку дерева. Молодой гавиал попытался было откусить ему голову, но негр, крича, непрестанно раскачивал ею.

Наконец, солдаты вытащили сухой ствол на берег. Он легко скользнул по тине, усеянной осколками бутылок и обрывками гирлянд.

Солдаты спрятались в кустах. На дерево медленно спланировал гриф. Выползшие на берег гавиалы уснули на солнце с приоткрытыми глазами.

Лаура Пистилл помолилась за убийцу и уплыла на пароходе в Европу. Остановившись в Париже, она слушала «Искусство фуги» в Сен-Жерве; красивый мужчина с серебристыми волосами все время смотрел на нее; на выходе она увидела, что это священник. Поужинав в Марэ, они отправились вместе на концерт. На исходе дня священник признался, что на самом деле он – гангстер. Вернувшись в Бервик, она написала ему. Он ей ответил. Зимним утром 1910 года она прочла в газете о его смерти в монастыре Сиены.

Лаура Пистилл – маленькая пожилая дама, сплошные розы и кружева. Ее дом, похожий на бонбоньерку, всегда открыт для окрестных детей. По утрам, когда она шла к своему магазину, уличные дети и школьники, отталкивая друг друга, спорили за право нести ее кожаную

сумку и зонтик. Позже, когда ей стало трудно ходить, студенты построили для нее деревянную повозку с бархатными подушками. Дежурный мальчишка отвозил ее к магазину и забирал обратно после занятий; Лаура раскланивалась налево и направо, гладила вихрастые головы, раздавала конфеты и хот-доги, отирала лоб под акациями бульвара. Зимой она не выбиралась из своей шкатулки.

Друзилла привела к ней Дональбайна. Важно восседая на викторианском кресле, он слушал Брамса, насильно, до тошноты, набивая себя пирожными и желе. Леди Пистилл повернула ручку настройки радиоприемника, и голос диктора возвестил о резне в Хайфоне. Дональбайн, побледнев, положил пирожное на стол, встал и приблизился к приемнику. Леди Пистилл вздрогнула.

- Боже, сказала она - бедные люди!

Я встал, подошел к Дональбайну, положил ладонь ему на плечо. Он посмотрел на меня исподлобья, и на его ресницах блеснула влага.

– Дональбайн, – пробормотал я, – у нас всех свои несчастья. Забудьте об этом.

Он выключил радио и сел на прежнее место. Перед нашим уходом леди Пистилл подарила ему две пластинки Баха и «Письма к детям» Льюиса Кэррола. Мы спустились на пляж. Моросил дождь. Дональбайн пожаловался на боль в печени. Мы взяли его под руки. Дождь усилился, мы побежали к дюнам. У берега, в кустах чертополоха, мы нашли маленькую хижину из досок и ветвей, накрытую просмоленным брезентом. Мы вбежали в нее. Дональбайн был бледен, он сел на ящик и стал выдирать из ступней колючки чертополоха. Мы решили искупаться. Дональбайн скорчил недовольную мину, но Друзилла решительно расстегнула пуговицы на его курточке:

- Дональбайн, не усложняйте себе жизнь. Вы обожаете воду, так? Ну так ныряйте, это поможет вам переварить пирожные леди Пистилл.
 - Я правда неважно себя чувствую.
 - Дон, Дон, не врите.
 - Да не хочу я купаться.
 - Ну же, Дон, доставьте мне удовольствие.

Она начала раздеваться. Дональбайн, уже раздетый, дрожал на ветру.

– Друзилла! – сказал я.

Втроем мы вошли в море. Дональбайн шел нехотя, прижав локти к бокам. Друзилла окатила его водой. Потом мы нырнули. Несколько

раз взмахнув руками, Дональбайн крикнул, что его тошнит, и вернулся на пляж. Мы видели, как он спрятался за хижину. Друзилла выбежала к нему из воды; потом они снова вышли на берег, Дональбайн прижимал ладонь корту. Они легли рядом в полосе прибоя.

 Дональбайн, похоже, болен, нам нужно вернуться.

Они поднялись и вместе вошли в хижину. Я отдался ласкам волн. Мне было хорошо. Я представлял себе, как они стоят друг против друга в зыбком полумраке хижины – Друзилла, объятая потаенным пламенем, нетерпеливая и застенчивая, Дональбайн, напуганный и снедаемый любопытством, сознающий свою дерзость, смотрящий на нее во все глаза...

Я толкнул дверь и увидел их: они стояли лицом к лицу, взволнованные беспорядком мокрых купальников – не коснувшись друг друга, они так и не поняли, способны ли это сделать.

В последний год его пребывания в Эшби он целыми днями пропадал с Друзиллой, но я был уверен, что она вернется ко мне скоро, как только он уедет, что ей наскучит его неоперившаяся юность. Теперь же он не без удовольствия позволял ей преследовать и ловить себя, касаться своей руки, ему нравилось, когда их волосы сплетались, склоненные над одной книгой, когда их взгляды перекрещивались на одной фразе. Чудо исцелило Дональбайна, распрямило его члены. Переполненный силой, он жил за двоих... Часто, когда мы были наедине, он говорил мне, как глубоко понимает его Друзилла. «Она прикасается кончиками пальцев к вашим изъянам, придавая вам сил, чтобы бороться с ними», - говорил он своим ускользающим голосом. Я развлекался, наблюдая зарождение его любви. Я не мог не оценить его храбрость и пылкость. В такие моменты, отринув гордыню, он целиком отдавался страсти и борьбе.

Он теперь не пел – не осмеливался перед ней. Дважды я обнаруживал его полуодетым под окном нашей спальни. Он стоял, как лунатик. Потом он, не сказав ни слова, повернулся и пошел; пряжка расстегнутого ремня блестела на его бедре; в руке он держал зубную щетку (с некоторых пор он приобрел привычку совершать свой туалет, прогуливаясь). Друзилла на расстоянии ощущала его присутствие; когда я вернулся в постель, она говорила: «Кто

это был? Наверняка Дональбайн. Если бы ты знал, как мы с ним носились после завтра-ка!..», или: «Он был одет? Он может простудиться, прогуливаясь с голой грудью...» Она ни разу не захотела его увидеть. Потом она долго ворочалась без сна, и на ее открытые глаза ложились проблески зари.

День ото дня он понемногу расставался с угрюмым, натянутым видом. Он больше не анализировал свои ощущения, он жил.

И все же он не сдавался. Сколько ласк, сколько беглых поцелуев было расточено в закутках изгороди и в прохладе коридоров!.. Я представлял себе завершение гонки: он садится рядом с ней, их одежда отяжелела от пота, ее рука лежит на плече юноши, они тайком посматривают друг на друга, он склоняется к ее мягкой ладони, проводя по ней волосами. Шум, шорох, порыв ветра останавливает их, освежая потные тела. Он, порываясь уйти, осмеливается взглянуть на подъем ее груди; она: «Дональбайн, я так несчастна... если бы...» и быстро накрывает его колени своими ладонями: «Как горячи твои колени...» Он, прямо стоя под красным вечерним ветром: «Мы

слишком быстро бежали. Вернемся. Ну же. Отчего ты несчастна? Что ты подумала, когда увидела меня впервые? Заставь себя быть счастливой. Не надо меня любить, это приносит тебе столько страданий... Будем любить издалека. Не трогай меня... Это грех». Она отдаляется от него и улыбается, невзирая на боль. Они идут к замку, собирая на ходу ягоды: «Мы играли в догонялки потому, что ты меня любишь? Мне казалось, что за мной гонится преступник – ты хотела меня убить. Это грех. Это грех».

По весне поля утопают в синеве. Мы с Друзиллой ранним колким утром скачем верхом к озерам; лошадиные крупы блестят в золотистом тумане. Мы не можем обойтись друг без друга. Лошади сближаются, наши ноги соприкасаются. Друзилла, улыбаясь, смотрит на меня, ее волосы рассыпались по лицу.

По ночам мы не могли уснуть. На заре мы тихо вставали, я седлал лошадей в рыжеватом сумраке, она в погребе готовила сандвичи. Когда она появилась в проеме дверей конюшни, шелестящие листья стоящих на опушке деревьев, как водоросли, колыхались в ночи.

Лишь контуры ее тела блестели в мятущемся мраке; слабый отблеск позволял угадать очертания двери.

 Подойди, – прошептала она дрожащим голосом, – подойди ко мне, мне страшно.

Отпустив ногу лошади, я поднялся, подошел к Друзилле и обнял ее.

– Чего ты боишься?

- Не знаю. Я думаю о Дональбайне.
- И что же?
- Он не должен бывать у нас.
- Почему?
- Он еще ребенок.
- Ты влюблена в него?
- Не знаю.
- Дорогая, ты опережаешь меня.
- Поедем скорей.
- Куда ты хочешь?
- К морю, может быть...
- Хорошо. Скажи... с Дональбайном, это серьезно?
- Я не могу понять, что я чувствую. Я вспоминаю вечер, когда мы втроем сошлись в каком-то разговоре. Мы с тобой, разгорячившись, зашли слишком далеко, и я заметила, как он покраснел. Сами того не желая, мы распалили его воображение. Мы должны написать Брамарам, что больше не сможем его принимать.
 - Как хочешь.
 - И еще нам нужен новый лакей.
 - Я займусь этим.
 - Не забудь рассчитаться с Джонсоном.
- Конечно. Но что с тобой сегодня? Я тебя не узнаю.

- Ангус, у нас, кажется, будет ребенок.
- Yoor P
- Я беременна.
- A...

Тучи, как скалы, нависли над нами. Друзилла протягивает мне сандвич. За лесами и деревеньками блестит море. Солнце, положив тяжелые ладони мне на живот и на голову, прижимает меня спиной к земле. Поле – пылающая комната. Мы любим пламя.

Мы въезжаем в порт. Бервик-на-Твиде – славный городишко, полный сквозняков и старых дев. Наши лошади, увидев трамвай, встают на дыбы. Центральная площадь пахнет ячменным сахаром. На крепостных стенах играют нарядные послушные дети. Переулки раскрывают шторы. У подножия стен молодые пастухи, белокурые и худые, продают снегирей в клетках. Мы въезжаем в крепость. Друзилла протягивает руку в сторону сада Лауры Пистилл. Открываются окна. Мы спускаемся с лошадей. Лаура берет Друзиллу за руку:

- Куда вы спрятали маленького Дональбайна?
 - Но... он уехал в конце лета.

- Скала из шелковых трав... этот маленький Дональбайн. Приведите его ко мне следующим летом.
 - Он больше не приедет.
- ... скала из шелковых трав, каменный цветок.

Мы оставляем лошадей на попечение Джона, молодого конюха; уходя в нежный сумрак заросшего сада, он смотрит на Друзиллу поверх конских грив.

Лаура Пистилл, семеня впереди нас, раздвигает листву, расставляет стулья и усаживает нас на террасе, нависшей над портом, лицом к морю. Друзилла, закрыв глаза, склоняет голову на мое плечо. Лаура Пистилл возвращается с серебряным блюдом. Она смотрит, как мы едим. Серебряный орел моря клокочет золотом. Рыбаки, уходящие в море, приветствуют леди Пистиллу, хрупкую статуэтку на карнавале солнца и ветра. Запах смолы и наживки поднимается к террасе, ноздри леди Пистилл раздуваются, ресницы дрожат. Все обитатели моря, все морские растения всплывают, выпрыгивают, вылетают из глубины. Моряки и пираты, по пояс в зелени волн, дерутся на ножах.

Лаура Пистилл встает, блюдо выскальзывает из наших пальцев, как толстая блестящая рыба. Я кладу ладонь на бедро Друзиллы. Бархат, обтягивающий ее тело, обжигает мне пальцы.

- Ты заметила, как смотрел на тебя Джон?
- Нет.
- Ты влюблена в кого-нибудь?
- Этот маленький конюх недурен собой.
- Посмотри, скарабеи на скале.

Моя ладонь гладит ее живот.

- Ребенок.
- Да.
- Друзилла, ты вспоминаешь еще Дональбайна?
 - Реже.
 - А Джон?..
 - Не знаю, может быть.
 - Я не обижусь, поверь.
 - Будто?
 - Правда. С моей стороны...
 - Мы сами как дети.
 - Как ты красива! Каждый из них мечтает...
 - Они не смеют. А ты мне не говоришь...
 - Поедем куда-нибудь?
 - Куда бы ты хотел?
 - В Африку.

- Посмотри на Лауру. Она ни в чем не сомневается. Ох, Ангус!
 - Что ты?

Я подозревал, что порой она уступала искушениям добродетели. Присутствие Лауры наполняло ее кротостью – и я боялся этой кротости.

За завтраком с нами был морской офицер Кортни Бон. Бриз раздувал волосы Лауры. Говорили о Сирии. Друзилла поворачивала голову всякий раз, когда Кортни к ней обращался. Он, понятно, превозносил репрессии французов в Индокитае. Друзилла оживилась. Лаура тронула ее за руку – Друзилла забыла о еде. Раскрасневшийся офицер воспевал силу оружия, цитировал своих начальников, глотал все без разбора и проливал соус на мундир.

Мало-помалу Друзилла стала смотреть на него снисходительно. Лаура попыталась привлечь всеобщее внимание к отплывающему сейнеру, но Друзилла накрепко вцепилась в бедного юношу; может, она и притворялась, но это ее притворство доводило ее до дрожи, так что все кругом полагали ее искренне увлеченной.

Когда офицер объявил о своем скором отплытии в Сирию, она расхохоталась. Молодой

человек сказал, что оставляет в Англии беременную жену и не увидит своего новорожденного ребенка. Друзилла в ответ заявила, что ее тошнит от героизма. Я попросил ее замолчать. Лаура отвела ее в дом. Мы с Кортни остались одни. Он улыбнулся мне и, закрыв глаза, запрокинул голову. Я попросил его простить Друзиллу: она сама была беременна. Мы попробовали вообразить себе лица, глаза и голоса наших будущих детей. Кортни громко рассмеялся. Потом он поднялся и начал изображать своего полковника и его жену. Я, обмотав вокруг руки салфетку, показал кролика, грызущего капусту. Кортни слепил из хлебного мякиша мышонка и пустил его гулять по своей ладони. Голоса Лауры и Друзиллы доносились до нас то из зала, то из спален. Время от времени Друзилла подходила к окну и махала мне рукой.

Кортни при этом каждый раз, краснея, отворачивался к морю. Я предложил ему прогуляться по дюнам.

Мы спустились к подножию крепости. Друзилла кричала нам вслед, что хочет идти с нами, но мы притворились, что не слышим ее голоса. Она бросилась за нами, но мы юркнули в портовые склады, где она потеряла нас из вида. Старая земля была влажна и холодна, как глаз. Целый час мы плавали в море. Юный офицер купался обнаженным. Я подумал о том, что Друзилла пыталась докричаться до нас лишь для того, чтобы увидеть его тело на волнах и, может быть, даже коснуться его, благодаря прибою. Теперь она, должно быть, перебирала ситцы и шелка в шкафах Лауры и, лелея тайные мысли, ласкала китайское белье.

С этого дня Друзилла стала загадочной – я хочу сказать, что мечта без ее ведома сковала ее. Все чаще она стала приводить меня к Лауре, к морю. Она навыписывала газет, участвовала в митингах лейбористов, платила членские взносы, протестовала. Она купила большую карту Ближнего Востока и пять-шесть книг о Сирии.

Она стала уклоняться от моих ласк, порой упрекала меня в праздности, указывая на беды и нищету угнетенных народов.

Однажды утром я получил письмо от Кортни. Друзилла склонилась ко мне, чтобы прочесть, от кого оно. Увидев подпись, она, побледнев, откинулась на подушку.

- Я о нем совершенно забыл, а ты помнишь его?
 - Да, смутно.
 - Ты его чуть ли не оскорбила...
 - Я? Ты шутишь.
 - Если хочешь...
- Да зачем он тебе пишет? Вы вправду стали друзьями? Мне казалось, вы были просто симпатичны друг другу...
- Мы вместе купались. Он говорил мне о Равеле.
 - А обо мне он ничего не говорил?
 - Нет.
- К чему же мне вспоминать о каком-то желторотом офицерике?
- Мне показалось, ты была немного им увлечена...
 - Это ты о нем заговорил.
- Ну, оставим его... Надо бы написать Шевелюрам по поводу Дональбайна. Ты по-прежнему отказываешься его принимать?
- Подожди еще несколько дней. Я должна подумать.
 - Да? А я думал...
 - Не стоит зря беспокоить Шевелюров.

Я с удивлением обнаружил, что все еще люблю ее. Я совсем ее не знал. Она была для меня жестом, голосом, новой лаской. Я скучал в ее отсутствие и хотел, чтобы она была рядом. Представьте: мы недвижно лежим рядом, я приподнимаю ее, просунув руку ей под плечи; ее голова запрокидывается - она притворяется мертвой - глаза закрыты, губы расходятся, руки волочатся по смятой простыне, как плавники снулой рыбы по прибрежному песку. Она ничего от меня не скрывала. Однако, после отъезда Дональбайна, в то последнее лето, что он гостил у нас, я порой целыми часами не видел и не слышал ее. Вначале ее короткие исчезновения не вызывали у меня никакого беспокойства. Потом, когда имя Дональбайна и воспоминания о нем исчезли из наших с ней разговоров, Друзиллой овладела глубокая задумчивость, которая не покидала ее уже до самой смерти. Однажды я решил проследить за ней во время ее одиноких прогулок. Она шла, скрестив руки за спиной (я часто видел, как, обхватив руками голову, она мчится сквозь ночь и мглу). Иногда до меня доносились звуки песенки, которую она напевала. После, засунув руки в карманы своей кожаной куртки, она начала бешено топтать мокрые цветы, точно какая-нибудь школьница, потерявшая голову от ощущения свободы. Так шла она, дикое сердце, дыша осенью, закинув шарф назад на плечи. Она убегала от меня. Ни разу не обернулась. Лишь оглядывалась искоса, как только что освобожденный зверек. Она остановилась на берегу реки Гарвинис, наклонилась, набрала воду в ладони и ополоснула лицо. Глубоко вздохнув, она начала быстро карабкаться по покрытому мхом и заросшему кустами акации утесу, нависшему над рекой. Она исчезла на вершине. Я ждал ее в смятении теней. Через час она спустилась из своего убежища. Я не услышал от нее ни слова, мне лишь показалось, что сквозь шум потока я уловил легкий, свободный, детский смех.

Вечером, наедине со мной, она была безразлично весела. Я пытался уловить в ее глазах отблеск воспоминания. Напрасно. Чистые, холодные, незатененные глаза смотрели

на меня, и ресницы почти не бились. Наутро я проснулся раньше ее. Я пошел к реке. Я забрался на утес. На его вершине стояла маленькая хижина охотника или лесоруба, построенная из веток и пластин черепицы. Я вошел в нее. Ковер, который я тотчас узнал – это был ковер из ее детской - покрывал земляной пол. Доски, прибитые к стенам, образовали полки, на которые она расставила вещи, я уже видел их в той же детской: бронзовый Наполеон, принадлежавший Иви-Дезир, три огромные раковины, подарок мадмуазель Фулальба, польский лыжник из дерева и плюша, стеклянные шары с заключенными в них вспышками и цветными пятнами, портрет девятнадцатилетнего Шумана, несколько детских книжек, говорящая кукла... В просвете между ветками виднелась река. Несмотря на холод, меня мучила жажда. Я спустился с утеса и напился из реки. В спешке я хватил немного воды носом; мои глаза наполнились слезами; я закрутил головой. Это легкое удушье пробудило во мне воспоминания детства, и образ Друзиллы – маленькой девочки не оставлял меня до самого вечера. Я вспомнил некоторые слова, показавшиеся мне тогда странными, некоторые жесты, обращенные ко мне. «Ты говоришь и движешься, словно на пожаре», – сказал я ей тогда. Она прильнула ко мне своим пылающим телом и увела меня в даль – словно хотела сбежать от раскаленных поленьев и когтей пламени.

Обратно я шел вдоль Гарвиниса до самой деревни Эшби. Там, увидев, что несколько женщин узнали меня издалека, я свернул на другую дорогу, через заброшенную лесопилку Мелифонтов. Мой сапог отшвырнул в сторону замерзшую гадюку; должно быть, дети подбросили ее в это место, где твердь состоит не из земли, а из дерева.

Некоторое время спустя Друзилла сделала аборт в одной швейцарской деревушке. По возвращении в Эшби какое-то томление охватило ее. Она почти не спала. На меня она смотрела исподлобья и вздрагивала всякий раз, когда я к ней подходил.

Дональбайн, сын шотландского короля Дункана, всегда казался мне нежным, сумрачным юношей. Он мало говорил, его не видели на полях сражений. Валентин Шевелюр, которого некогда прозвали Дональбайном – он и сам не знал почему – был на него очень похож. Мягкое упрямство позволяло всем его поступкам прослыть оригинальными; добавьте к этому еще несколько тщательно разыгранных приступов ярости и взрывов негодования, искренность которых скрывала врожденная снисходительность – и вот вам юноша, полный очарования и важности, но совершенно непостижимый.

Друзилла и полюбила его, пораженная этой загадкой. Дональбайн не мог не возгордиться чувством, которое он внушил. Без сомнения, он хвастал перед своими школьными приятелями. Потребность в привязанности сделала этого скромного мальчика болтливым. Он охотно соврал бы, чтобы быть любимым,

даже если бы его самолюбие ему в том препятствовало.

Все мысли, все мечты Друзиллы отныне были устремлены к этому гладкому белому лицу, к этому не по годам важному голосу и к этому по-детски строгому и упрямому характеру. Дональбайн стал новым юным богом ее одиночества.

Старше его лет на десять – да, точно, когда мы снова встретились в Брамаре, ему было семнадцать – она не могла отказать себе ни в воспоминаниях о нем, ни в страданиях от этих воспоминаний. Но Друзилла упивалась жизнью: то, что было ее стыдом, через три дня превращалось этой колдуньей в гордость. Очень скоро благость, добро и зло, все эти преступления и наказания стали для нее детской сказочкой; отныне она ненавидела лишь судей. Принималась в расчет лишь одержимость поступков и душ. Она сорвалась в собственную бездну, и я мог только наблюдать, как она навсегда удаляется от меня. Ее отчаянье было само по себе великим, без примеси вызова или бунта...

В начале лета мы снова пересекли море. Друзилла позволяла прогуливать себя, как выздоравливающий ребенок. Я любил ее такой – жалкой, беспомощной, смеющейся навзрыд. Нет в нас осознания жизни. Мы просто ждем освобождения.

Шевелюры в Брамаре жили, работали, спали, зарабатывали себе на жизнь - и не видели ее. Клод показала нам наши комнаты, помогла Друзилле раздеться под желтым абажуром, постучала в мою дверь и бросила мне теннисную ракетку. Мы играли под ярким полуденным солнцем. Мяч отлетел в куст глицинии. Агнесса, маленькая горничная, вся – кровь с молоком, звонила в колокольчик над дверью прачечной, белка прыгала в зеленой клетке, мадам Шевелюр под мирабелью толкала кончиком своей трости каркас воздушного змея, столовое серебро блестело под ирисами, цветок магнолии падал на скатерть, ветер перелистывал лежащую на скамейке книгу. Друзилла вышла из дома впереди мсье Шевелюра.

Мы с Клод оставили ракетки в прачечной. С блестящими глазами мы уселись под полками с инструментами, ниточки паутины касались наших щек. Я ощущал жар ее тела на моей щеке и на бедре.

- Друзилла сделала аборт? спросила она меня, не глядя.
 - Да.
 - Это безумие.
 - Я тоже так думаю.
 - Как же вы согласились?
 - Друзилла делает то, что хочет.
 - Вы не живете.
 - Мы даже не пытаемся жить.
 - Друзилла не сможет забыть.
 - Вы полагаете, она способна сожалеть?
 - Да.
 - Сожаления не убьют ее.
 - Что вы знаете об этом?
 - Друзилла меня любит.
 - Да. Странная у вас любовь.
 - Если хотите, выйдем.
- Еще одно слово, Ангус: Друзилла сильнее вас. Ваше безразличие лопнет раньше, чем ее.

Звук ружейного выстрела донесся из-за горы. Мсье Шевелюр вздрогнул. «Как они

ухитряются до сих пор находить дичь?» – пробурчал он над салатом.

Мадам Шевелюр: «В следующем месяце ты возьмешь с собой загонщиком Дональбайна».

Садовник вышел из сарая и поставил приставную лесенку к виноградной лозе. Он полез по ступенькам, в его испачканной землей ладони блеснул моток медной проволоки. Стрекозы, как стилеты, скребли по стеклу веранды.

В полдень Клод провела нас на берег реки. Первые в этом году раки шевелились в ямах, пятясь, тащили по зеленому песку медные камушки. В кустах салата скользили ужи. Клод раздвигает ветви бузины, трава жжет, как огонь. Я иду, скрестив руки за спиной. Друзилла положила ладонь на плечо Клод. Осы кружат над дикими вишнями, в кустах жимолости гудят шмели. Вокруг зубцов башен Арженталя обвивается плющ. Мы проходим сквозь заросли дрока, крылья из воды и золота скользят по плечам. Под цветами желто-зеленые пауки ткут свои тенета. Леса пахнут стертым плюшем.

На следующий день Дональбайн, вернувшись из колледжа, вышел из машины вместе с атлетами с гимнастического праздника. Мы увиделись с ним перед ужином.

 Я узнал, что вы у бабушки, и сразу примчался к вам.

На нем был легкий фланелевый костюм и тяжелые роговые очки.

Друзилла причесывалась в своей комнате. Дональбайн вошел в темный вестибюль. Наши плечи соприкоснулись под рыцарским доспехом.

Вы увидите, что Друзилла сильно изменилась.

До нас долетал из сада аромат магнолии. Друзилла замерла на ступеньке лестницы:

– Вот и вы, Дональбайн, но теперь вы стали красивым молодым человеком.

Она протянула ему руку. Он торопливо пожал ее. Все двери в сад были распахнуты. Перед тем, как Дональбайн отнял руку, Друзилла бегло посмотрела на меня.

В саду мадам Шевелюр завесила тканью беличью клетку. В кабинете, освещенном как аквариум, под бюстами Гиппократа и Гете, работал доктор Шевелюр.

Дональбайн поцеловал Клод.

У меня есть для тебя книга, «Арманс»
 Стендаля. Обещай мне прочитать твои стихи.

Дональбайн повернулся к нам и покраснел. Друзилла:

- Я не знала, что ты до сих пор пишешь.

Мадам Шевелюр вошла в салон и подняла глаза на правую стену:

- Клод, куда ты дела английскую гравюру?
- Она прямо перед тобой, мама. Вы знаете, Друзилла, она изображает деревенские выборы в Сассексе в восемнадцатом веке...

Но Друзилла смотрела на Дональбайна, стройного и нетерпеливого в своем легком костюме из светло-серой фланели.

Она зовет его в свою комнату.

 У меня есть кое-что для тебя, – патетично произнесла она под ярким светом греческой лампы.

Она берет Дональбайна за руку и выводит в вестибюль. Клод закрывает дверь.

– Да, говорю я, пластинка, «Дидона и Эней» Перселла.

Слышно, как белка подпрыгивает в своей клетке после каждого шороха листвы.

Три недели мы прогостили у Клод, то есть у бабушки и дедушки Дональбайна. Сам он жил

на другом конце деревни. Друзилла затаскивала Дональбайна в самые отдаленные окрестности Брамара. В день окончания занятий мы посетили колледж Дональбайна. Все эти разодетые, раззолоченные юные буржуа откровенно скучали: одни перебрасывались записочками, другие читали порнографические романы, третьи курили, спрятавшись за цементными колоннами от зорких очей краснолицых Святых отцов, торжественно восседающих на своих скамьях. Родители сзади восторженно созерцали лоснящиеся затылки и плечи а-ля Стендаль своих отпрысков. Никудышный органист кромсал Букстехуде, дополнял Баха, смешивал Видора с Генделем, пропускал молитвы. Вдалеке, под фреской в социалистическом стиле, на которой были изображены дети всех рас в коротких штанишках с папками в руках, шествующие к белому, как мел, рассеянному Христу, вдалеке, там, куда, несмотря на микрофоны, не доносятся голоса, священник («он душится лавандой» - прошептал Дональбайн) сковыривал с рамы позолоту.

В полдень в старших классах распределяли призы. Дональбайн был первым в латыни, в

греческом и французском. Друзилла не сводила с него глаз. Перед тем, как взойти на возвышение, он затерялся в толпе родителей. Мы шли следом за ним. Во дворе мелкий дождик сжимал сердца и бередил души. Юные философы, заносчивые и нескладные, шли под руку со своими сестрами. Дональбайн провел нас по коридорам, залам и дворам. Друзилла изо всех сил старалась казаться безразличной. Дональбайн, пользуясь случаем, рассказывал, что с ним было в последние десять лет. Во время своего монолога он случайно назвал Друзиллу по имени. Она вздрогнула, ее глаза увлажнились. Из окна третьего этажа Дональбайн показал нам бассейн, обрамленный карликовыми тополями. В нем со смехом и криками купались мальчики. По дорожке вокруг бассейна прохаживалась девушка. Купальщики продрались сквозь живую изгородь. Девушка остановилась. «Это Анна, она продает нам абсент», сказал Дональбайн и под серым дыханьем ливня закрыл окно.

Дональбайн был взволнован и смущен. Тщеславие подталкивало его к тому, чтобы воспользоваться привязанностью, которую испытывала к нему Друзилла, но гордость и стремление не изменять себе запрещали сближение и благосклонность к ее чувствам. На людях он позволял себе выказывать дружбу – порой чересчур смелую, что неизменно укрепляло его престиж в глазах братьев, но не давало повода для беспокойства родителям. Когда же мы оставались наедине, он становился заметно нежнее – меня он не опасался – и часто, конечно же из сострадания к ней, готов был ее поцеловать. Она видела это сострадание, и это было для нее новым поводом к томлению.

Он смотрел на нее, не отрываясь, предугадывал ее желания, порой хандрил – лишь для того, чтобы Друзилла погладила его по руке и попросила улыбнуться. Несмотря на уважение, которое он испытывал к страданиям Друзиллы, он не мог отказать себе в возможности поиграть с ней, выставляя напоказ легкомысленность, свойственную столь юному возрасту. Однако он преувеличивал ее здравомыслие, и порой она задыхалась от этих игр.

Он же беспрестанно выдумывал новые. Самое ужасное в нем было то, что он был слишком высокого мнения об окружающих. Если кто-то из них выбивался из тесного круга его влюбленности, он становился жестоким и беспощадным. Он не смог бы полюбить того, кого не уважал.

Друзилла ни разу его не разочаровала. Он восхищался ее силой, ее тайной, он любил ее зрелую плоть. Он любил Друзиллу потому, что мог защитить ее, прикрыть, провести мимо мрачных гримас жизни, нежно утешать ее, как обиженного, ранимого, полного жаркой решимости ребенка, быть ей братом, благодаря сплетенной сети сообщничества.

Я никогда не ревновал. Я только наблюдал с тайной смелостью, которую давала уверенность в том, что последнее слово останется за мной.

Ветер выстелил колосья, разбудил во двориках запах намокшего хлеба, поднял паруса, надул пузырями висящее на веревках белье, прогнал из сада ос. Испарина грозы, застилая мои глаза, затекала в расселины пальм. Это был наш последний день во Франции. Друзилла и Дональбайн плавали у запруды. Я в купальнике лежал на берегу, ветви сосен защищали меня от солнца. К воде подошла группа молодых рабочих, на их щеках и ладонях блестело машинное масло. Мою спину кололи сосновые иглы, в моих волосах копошились муравьи. Солнце оживило все запахи: бензин, смола, сирень, горячая земля, тина, тростник, совокупляющиеся насекомые, ползущие улитки, смазка, пот, нагретый парус, гудрон, кирпич, малина, целлулоид. Вокруг запруды – шелест высокой травы.

Внезапно раздался крик Друзиллы. Молодые рабочие тут же бросились в воду. Я видел, как Дональбайн суетится в воде около Друзиллы.

Она вырывается. Пловцы приближаются к ней. Я встаю и тоже ныряю в теплую пресную воду. На середине реки холодное течение словно рассекает меня пополам. Друзилла попрежнему бьется в припадке. Дональбайн пытается удержать ее. Молодой деревенский парень за моей спиной бросается в воду в одежде. Я обнимаю Друзиллу за талию. Дональбайн молча плывет рядом со мной.

Мы положили Друзиллу на дорожный плед. Я благодарю молодых людей, они уходят, насвистывая, как вышедшие из воды боги. Дональбайн тяжело дыша, стоит у ног Друзиллы, уперев руки в бока:

 У нее случилась судорога, она словно обезумела, я не смог ей помочь. Я очень испугался.

Друзилла закрыла глаза. Дональбайн отвернулся к запруде. Я наклонился к Друзилле, ее ресницы дрожали.

- Что с тобой? спросил я ласково. Что с тобой?
- Вода была как шелк, и этот затылок, эти бедра, такие нежные, рядом... его плечи блестели над водой, словно покрытые чешуйками... Моя голова закружилось, сердце сжалось... Ангус, умоляю тебя, уедем... Он меня

убивает...Солнце не согреет меня, не растопит лед у меня в груди... я умираю от холода...

Дональбайн обернул бедра полотенцем и переоделся. Из долины доносилось конское ржание. Небо потемнело, серебристая ладонь ветра скользнула по запруде. Друзилла поднялась, слегка постанывая. Я не был опечален. Я не испытывал ни гнева, ни ревности, ни отвращения... Она хотела утопиться, думал я, она любит Дональбайна и может покончить с собой...

– Ты сошла с ума, – сказал я тихо, – любить ребенка, пытаться из-за него покончить с собой...

Она посмотрела на меня; ее глаза, щеки, лоб, губы блестели на изможденном лице, как умирающие отблески солнечного праздника. Она смотрела на меня, не говоря ни слова; ее привычное лицо теперь уплывало от меня, как объятый пламенем айсберг. Я обнял ее за плечи, она улыбнулась, как больной ребенок.

– Оставь меня, – сказала она, – все в порядке, обещаю тебе, я больше никогда...

Стаи птиц садились на сосны, насекомые прятались под листьями, вдоль стеблей или в своих норах из земли и веток. Друзилла

дрожала, я помог ей переодеться. Дональбайн открыл дверь автомобиля. Друзилла села на заднее сиденье. После запаха солнца и ила запах бензина и нагретой кожи обжигал ноздри. Мы ехали между живыми изгородями из дрока и бузины. После каждого поворота Дональбайн оборачивался к Друзилле: «Ну как? Ничего?» Я видел в зеркальце, как она улыбается, нежно опустив глаза. Мы ехали по черным посеребренным полям. Друзилла за моей спиной дрожала от отчаяния. Дональбайн справа от меня грезил о чем-то, сложив ладони между ног. Солнечный пунктир блестит на его влажных волосах, капелька воды сползает от виска по щеке.

На следующий день мы покинули Брамар. Перед самым отъездом Дональбайн заставил нас прослушать кантату О Ewiges Feuer. Мы уехали под эту героическую колыбельную. Дональбайн умел убеждать. Это был двойственный человек, одновременно сентиментальный и бесчестный, доверчивый и изворотливый, чудаковатый и прижимистый. Он боялся людей, которым не мог ничего сказать, они сочли бы его несостоявшимся и напыщенным. В других его восхищали черты, которых он не

находил у себя, даже если и был наделен ими с рождения. Через других он постигал себя. Иногда даже собственное обаяние ему приходилось подделывать, даже врожденную грацию имитировать. Он принадлежал к тому разряду людей, которые развлекаются, любя и страдая от любви. Он верил в Бога как в принцип и источник жизни, но сомневался в естественных правах. Он презирал самодовольство во всех его видах. Гордыня его была непомерна, он изо всех сил старался ее скрыть, сражался с нею, в то же время страдая оттого, что в чем-то отдает первенство другим.

Он верил только тем, кто дарует жизнь, и боялся тех, кто ее отнимает. Ужасная война, которую он вел сознательно, переполняла его ненавистью к солдатам и презрением к тем, кто над ними насмехается.

Он предпочитал ложь кривлянию, скрытность буффонаде. В схватке он старался убедить соперника в своей злонамеренности. Он всегда держал наготове презрительную улыбку, чтобы предвидеть и разрушать ситуации, в которых он мог бы показаться смешным. В разговоре он мог быть либо впереди, либо сзади вас, и никогда – на одной линии. Он не утруждал

себя ничем, кроме преследования своей мечты, своих снов. Если он не успевал с ответом, назавтра он давал почувствовать, что вовсе не считает себя побежденным, что умолчал сознательно, по заранее продуманному плану.

Он страстно жаждал материнской опеки, эта жажда заставляла его разорвать круг молчания и привычной бесстрастности и искать у других ласки и лести, которыми сам уже давно вознаградил себя.

Он горячо любил свою мать, но гордыня – следствие этой любви и видимого несоответствия любви ответной – была в нем настолько выше самого чувства, что первым проявлением его души после подслушанного разговора или прочтенного письма, в которых его мать отдавала ему предпочтение перед другими детьми, было тщеславие.

Он тут же присваивал все, что услышал, увидел или прочувствовал, но то, что касалось смерти, было ему чуждо. Деревня успокаивала его душу, убаюкивала сердце, город вселял в него тоску и удалял от Бога.

В жизни он следовал не вкусам, а инстинктам. Ему всегда не хватало уверенности в себе, кроме тех случаев, когда ее требовалось совсем

немного. Он подходил к вещам, событиям, людям, вдыхал их запах – и этим ограничивалось его познание мира. Иногда им овладевало страстное желание святости – очевидно, в эти минуты он уставал от самого себя.

С Друзиллой он действовал зажмурившись, один раз увидев и полагая, что увидит вновь. Он сознавал, что находится под защитой своей молодости, знал, что роман со зрелой женщиной зачтется ему, как подвиг и придаст ему обаяния. Он не замечал, да и не мог заметить, что причиняет ей боль. Даже после сцены у запруды он не осознал, что явился причиной ее страданий и что это невежество делает его в ее глазах еще более желанным. Он никогда не отдавал себе отчета в несчастьях, причиной которых стала его безупречная чистота.

В стороне от мира, в области мечты. Он был весь соткан из мечты. Его жизнь была долгой беспрерывной мечтой, иногда мягкой, иногда властной, только объект ее – он сам – не менялся никогда. Таким образом, его мысли и суждения не опирались на объективную реальность, но исходили из разлада меж двух враждебных, причудливо перемешанных

сознаний, порожденных его чувственностью и строгостью классического образования.

Мы встретились еще только раз, в Алжире; Дональбайн, солдат, навестил нас в отеле на берегу моря. Кичащийся здоровьем и силой, живой, изысканный, светский, нежный и циничный разом, он предстал перед нами этаким небрежным денди. Мы купались в Типазе. Дональбайн кувыркался далеко в море. Друзилла, сидя на песке и держа меня за руку, следила за ним. Расположившаяся слева от нас группка выздоравливающих раненых пожирала ее глазами. Я рассматривал одного из них, мальчишку с темным пушком над губой, гордого своей раной, показывающего всем покалеченную руку и рассказывающего о засаде, в которой он ее получил. Рядом с ним лежала стопка журналов и комиксов. К концу дня налетел легкий бриз, насыщенный запахами эвкалипта и овчины. Дональбайн вышел из воды, держа в правой руке ветку водоросли, формой и упругостью напоминающей пружину.

Вдали, в море, показался белый пароход, солдаты вскочили со своих мест. Их плечи и раны тоже были белы.

Солдаты ушли, исчезли на тропинках, ведущих от полей к пляжу. Лишь два звука нарушали тишину: шум прибоя и шум мотора картинга рядом с пляжем.

Вечером, в Алжире, под чернильным небом, Дональбайн ел каракатиц. Он много болтал, я чувствовал, что Друзилла отдаляется от него по мере того, как он дает ей все больше поводов опасаться, что он так и не стал мужчиной. И все-таки в ней оставалась тоска по скорбной, хрупкой радости – любить неловкую душу и нескладное тело ребенка. Кортни Бон получил отпуск. Мы пригласили его в Эшби с женой и детьми. Я прозревал в душе Друзиллы зерна новых жестоких поступков. Приехала чета Бонов; его жена оказалась очаровательной рыжеволосой женщиной с белой, как молоко, кожей. Друзилла привязалась к ней, осыпала ее ласками, поверяла ей свои секреты. Ребенок надрывался на руках у нянек.

Друзилла тайком посматривала на Кортни. Перехватив ее взгляд, он краснел, брал жену под руку, задавал казавшиеся ему уместными вопросы по поводу деревьев и цветов сада. Друзилла подстерегала его, как богомол муху. Я наконец понял: она хочет разрушить вокруг все, что любила. Несостоявшееся самоубийство было лишь минутной слабостью. Мне показалось, что я больше не смогу преодолеть ее отчаяние. Я жалел ее против своей воли. Она заметила это и смеялась над моей трусостью.

Иногда я думал о существе, которое должно было стать нашим ребенком. Я воображал,

как оно, гибкое и нежное, растет как деревце, без ненависти в глазах, делит свои лакомства с деревенскими детьми, беззлобное, усердное, краснеет от любви и любит нас, несмотря на порочность нашей жизни.

Я размышлял.

Я видел рядом живого Кортни и не видел жизни в себе. Друзилла была красивой, гибкой, роскошной женщиной. Она была ненасытна.

Они прожили в Эшби месяц. До последнего дня внешне между нами сохранились теплые, братские отношения, но я знал, что Друзилла и Кортни встречались на стороне. Вначале Кортни скрывал свое смущение. Потом, предчувствуя удачу, он без стеснения брал Друзиллу за руку в нашем присутствии. Однажды он властно схватил ее, несмотря на робкое сопротивление, и я понял, что прошлой ночью они стали любовниками. Она казалась мне усталой, подавленной новыми чувствами. Кортни смотрел на нас победителем.

Я нисколько не ревновал. Для Друзиллы Кортни стал взрослым Дональбайном. Молодой человек искренне пытался казаться безразличным, но гордыня и ревность непрестанно

одолевали его. Мир изобилует людьми, которые сильно заблуждаются на свой счет. Я, например, когда пытаюсь посмотреть на себя со стороны, сразу размягчаюсь. Я нахожу в себе доброту и умиление, остатки былой искренности и обеспокоенность духовными вопросами. Никогда не мог сказать определенно, верю я в Бога или нет. Старая книга об испанской инквизиции продолжает разжигать во мне гнев, в то время как Друзилла восхищается логикой и твердостью этой полиции.

Один священник едва не расцеловал меня после подобной исповеди: «В вас живет вера, сын мой, искать – значит верить и т. д и т. д». Нет, я не верил в Бога, и меня это нисколько не смущало. Мы не должны жить жизнью других. Я без страха уснул бы над новым исповеданием безверия и во веки веков оно не заставило бы меня воспрянуть. Ныне мы привыкли к самым великим безумствам мира сего. Черствость и безверие произрастают из плоти.

У меня не было никакого желания обратиться. Это все равно, что умереть. Верить в Бога – значит оскопить себя и мир, набросить покрывало на половину человека и земли, значит совершить измену.

Кэтрин Бон, жена Кортни, обожала Друзиллу, впивала ее слова, подражала ее голосу и походке. Она поверяла ей свои самые сокровенные тайны. Друзилла, наверно, пересказывала их Кортни во время их ночных свиданий. Иногда, в то время, как Кэтрин спала рядом с ребенком, до меня доносился их смех. Однажды ночью я столкнулся с Кортни в галерее Аполлона; увидев меня, он отшатнулся, попытался убежать, но я подошел к нему, улыбаясь, и предложил ему прогуляться по парку, чтобы, как я сказал, развеять нашу бессонницу. Не говоря ни слова, он последовал за мной на лестницу. Мы спустились по ступеням. В парке, в розовом кусте у последней ступеньки, сверкали два светлячка. Я указал на них Кортни. Он немедленно устремился к ним взглядом, словно боялся выказать хоть малейшее безразличие ко мне. Этой ночью мы долго говорили о ночном движении: зверей и растений, людей и камней, воды и облаков. Под конец он почти забыл, что только что наставил мне рога - хотя и был уверен, что я об этом знаю.

Кэтрин Бон боялась меня. Она не осмеливалась говорить со мной наедине. А ведь к

тому времени мой демонический взгляд сильно потускнел.

Я мог бы воспользоваться ее простодушием и моим воздействием на нее. Но я не стремился ее соблазнить: ей еще предстояло узнать, что ее муж ей изменяет. К тому же для меня это оказалось бы слишком легкой победой.

Итак, я оставил при ней ее первые подозрения. Кортни проявлял в ее присутствие легкое беспокойство, на целые дни забывал о своем ребенке, в спорах всегда вставал на сторону Друзиллы. Я же, сам того не желая, всегда оказывался на стороне Кэтрин.

Кортни Бон удивлял меня. Я представлял себе борьбу между его врожденной скромностью и желанием, когда он в первый раз коснулся руки Друзиллы: бегут секунды, он придумывает отговорки и отсрочки, вот сейчас пройдет человек или животное, пробьют часы, пробежит по земле тень от облака. Но время проходит, рука опускается вдоль тела. И ее дрожь обличает томление.

В глубине души ему не могла не льстить любовь Друзиллы; она возбуждала его любопытство – именно такое чувство вызывает в подобных ему, любезно-легкомысленных людях,

страсть, внушенная ими глубокой и развитой женщине. Или, скорее, не страсть, а искушение плоти и смятение духа.

Друзилла же была этой самой глубокой женщиной, непознаваемой и в то же время простой и ясной. Кортни стал для нее одним из тех горестных приключений, в которые женщина пускается без раздумий.

Я готовился к катастрофе.

Была ночь. Вечером в Бервике были куплены билеты до Лондона. Кортни, Друзилла и я после купания зашли на чашку чая к Лауре Пистилл. Кэтрин осталась в Эшби. По возвращении Друзилла и Кортни целовались на заднем сиденье, Джонсон уважительно смотрел на них в зеркало. Джонсон был в некотором роде молчаливым Сганарелем. Он понемногу втянулся в нашу инфернальную жизнь, он даже проникся от причастности к ней некоторым тщеславием, рассчитывая покаяться перед смертью.

Итак, Друзилла и Кортни перестали скрывать свою любовь. Пылкость, с которой они закончили прогулку не покидала их, и Кэтрин увидела наконец, что они любят друг друга. За обедом Кортни ласкал обнаженную руку Друзиллы, а потом, когда мы проследовали в

салон, решительно обнял ее за талию и привлек к себе. Кэтрин вздрогнула, вцепившись в мою руку. Мы поднялись в свои спальни. Гася свет в салоне и в галерее, я увидел Джонсона, стоящего на лестнице, подняв глаза к окнам второго этажа: неподвижный и хрупкий в своей рыжей кожаной куртке, он терпеливо ждал.

Ближе к полночи, когда я уже хотел погасить лампу, в мою комнату вошла Кэтрин. Полуодетая, с распущенными волосами, она шла к моей постели, повторяя: «Возьмите меня, возьмите меня, я вас умоляю!» Я понял, что таким образом она рассчитывает отомстить за оскорбление, которое ей вечером нанес муж. Долго она молила меня об отмщении. С сухими блестящими глазами, с жесткими губами, она просила меня стать ее любовником, чтобы сохранить равенство, обещанное ими друг другу в начале их любви. Кэтрин принадлежала к той горделивой части человечества, проклятьем для которой служит верность. Она выбежала из моей спальни, крича, что я лицемер и слабак; в самом деле, это уже давно была подлинная правда. На заре в мою комнату вошел Джонсон, умоляя меня подняться к Друзилле. Кэтрин ударила Кортни ножом, а Друзиллу - серебряным подсвечником по голове, а потом выпрыгнула в окно и разбилась о мраморные ступени. Пока Джонсон подносил раненым сердечные средства и нюхательную соль, я наклонился в окно: белое, успокоенное тело Кэтрин колыхалось в сентябрьском тумане.

Друзилла пришла в себя, Кортни отвезли в больницу в Бервик. Кэтрин умерла. Кортни стал набожным, отказался видеться с нами, разорвал наши письма и вернулся в армию. Его повысили в чине, и он утешился. Два года спустя мы встретили его у Лауры. Теперь это был жалкий человек, еще более нескладный, чем раньше. Слушая его, глядя на него, можно было подумать, что он забыл Кэтрин, как забывают юношеский флирт.

Деньги у нас были. Туристы останавливались у решетки и осматривали сверху донизу башню Абершоу, где Дональбайн, лежа на животе на вялых яблоках для сидра, сочинял свои первые стихи. Друзилле являлись призраки: мадмуазель Фулальба плакала в учебной комнате, множилось эхо осиных роев, розы, сорванные ею, увядали в ее пальцах, ковры змеями сползали со стен. Мадмуазель Фулальба до сих

пор дразнила наше воображение, она душила нас, хихикала в глубине галереи, грубо распахивала двери заброшенных комнат, по которым мы проходили зимними вечерами, ее ладонь наклоняла цветы в оранжерее, когтями впивалась в наши затылки, скользила по груди; мы пережили минуты отчаяния, почти безумия: Друзилла со слезами, криками, дрожа всем телом, бросалась ко мне. Она совсем не могла оставаться одна; скорчившись на диване, подогнув под себя ноги (когтистая рука могла в них вцепиться), она накрывалась пледами и шалями и малейшее дуновение, малейший шум доводили ее до судорог.

Что до меня, я рассчитывал на моих сторожей.

Я нанял нового лакея, постаравшись скрыть от него правду о том, что происходит в замке. Его звали Эдвард, он был светловолос, почтителен, скромен и как будто запуган. Друзилле понравилось вселять в него уверенность. Она сопровождала его к воскресным службам, дарила ему душеспасительные книги, организовывала вечерние молитвы в салоне Марса. Эдварду было семнадцать. Он очень скоро полюбил Друзиллу, вступался за нее перед слугами. Понемногу он узнал домашние тайны и услышал об оргиях в мансарде.

Он оставался верен Друзилле. Она не стремилась его искушать. Она видела, что его привязанность к ней растет по мере того, как он, исполняя свои обязанности, все больше узнавал нас, и, возможно, это смягчало ее. Я все же плохо ее знал. Я даже не знал, изменяла ли она мне; быть может, эти измены в ее глазах были совершенно невинны.

Она оставила его для своих услуг. Эдвард немного подучил латынь со священником. Ей нравился его голос. Она всегда влюблялась в голоса. Развалившись в кресле, расставив ноги на каминной решетке, скрестив руки за головой, она не спускала глаз с шевелюры и плеч Эдварда; тот же, пребывая в невинности духа и тела, не замечал тяжести ее желания.

Иногда она все же опускала ресницы, и тогда я любовался ее смятением. Мне нравилось смотреть, как она сдерживает, глотает свое желание.

Никогда она не говорила со мной об Эдварде, она жила только своим желанием. Мне доставались лишь взгляды и жесты. Эдвард повсюду следовал за ней по пятам.

Он боялся вечеров, тех мгновений, когда нужно было оставить Друзиллу и подняться в свою каморку под крышей. На лестнице служанки, смеясь, щекотали его. На площадке его поджидали лакеи, чтобы грубо обругать и толкнуть. Зная, что он ни за что не станет жаловаться, они регулярно воровали его жалованье.

Однажды вечером, забаррикадировавшись в своей клетушке, он со слезами рухнул на кровать. Порыв ветра освежил его горячий затылок; обхватив руками голову, он уселся на край кровати и вспомнил жития двух-трех святых, сравнивая их страдания со своими; в конце концов, он решил завтра же обо всем рассказать Друзилле. Она накажет грубиянов, может быть, даже прогонит их, а ему отведет комнатку рядом со своей спальней...

Прервав мечтания, он заметил, что между шкафом и окном промелькнула какая-то тень. Он встал и огляделся. От тени отделилась женская фигура. Он узнал в ней Кармиллу, самую младшую из служанок.

- Не кричи, не кричи, прошептала она, отступая к окну. Они заперли меня здесь, я не хотела, я вырывалась. Они втолкнули меня в комнату...
 - Зачем? Зачем? Что я им сделал?
 - Не знаю. Не бей меня.
 - Ты же знаешь, что я тебя не ударю.
 - Ты плакал?

И она приблизилась к нему.

- И ты плакал?

Она обняла его за плечи и ласково провела ладонью по его ресницам. В его глазах заметался страх, он попятился к кровати, отталкивая от себя руки Кармиллы:

– Ты пришла, чтобы искушать меня.

Она склонилась на подоконник, и ее смех запутался в виноградной лозе. – Ты пришла, чтобы искушать меня. Отвечай! Не притрагивайся ко мне.

Она обернулась и подалась к нему – корсаж расстегнут, губы блестят.

- Нет, я дотронусь. Ты красив. Я тебя люблю, люблю, слышишь?
- Ты лжешь. Уходи. Уходи к Герберту. Я видел вас однажды вечером...
- Φ у, грубиян. Тебе надо было пойти в услужение к попу. К тому же тебе больше по сердцу знатные дамы.
 - Замолчи!
 - Ты знаешь, зачем они послали меня к тебе?
 - $y_{xo\partial u!}$
 - Если ты меня прогонишь, я открою дверь и...
 - Кармилла, зачем ты творишь зло?
 - Не тебе меня учить.
 - Бог покарает тебя.
 - *-Да ну?*
 - Ты не боишься ада?
 - Я же тружусь.

Прижав руки к животу, с расширенными от страха глазами, он отступил еще на шаг к кровати. Она, уже не так уверенно, подвинулась к нему. Он ощутил на животе и на щеках жар ее близкого тела. Когда она прижалась к нему, он поднял руку

и ударил ее по щеке так сильно, что она покачнулась и вцепилась в его куртку, чтобы не упасть. Он спрятал покрасневшую ладонь в карман и остался стоять на месте. Она села на кровать и заплакала.

Он приблизился к окну, окунул горящее лицо в ночную прохладу, потом обернулся, вынул из кармана дрожащую руку и оперся ей на подоконник:

- Я буду спать в кресле. Ложись на мою кровать.

*Не переставая всхлипывать, она отрицатель*но покачала головой.

Он достал из шкафа покрывало, закутался в него и притулился на кресле. Страшная тоска, словно прожорливый зверь, напала на него, парализовав его тело и дух.

– Прости меня, пожалуйста, – сказал он, – я и вправду грубиян. Прости меня. Спокойной ночи.

Он зарылся с головой в пыльное покрывало.

Она подняла голову:

- Пошел ты со своими извинениями. Ты просто... Он еще глубже зарылся в тряпье. За дверью слышались шепот и шум шагов.
- Слышишь, это они, произнесла она, всхлипывая, – что я им теперь скажу? Они ожидают, что мы ляжем вместе... Ты хочешь, чтобы я умерла от стыда?

Он уже не слышал, сон сковал его, несмотря на тяжкий груз печали. Покрывало пахло медом и овчиной; бабушка Саксо тоже пахла медом и овчиной, когда она била нас по щекам своей холодной ладонью. За перегородкой, под луной, бараны блеяли, как черти, я видел, как их рога и крупы движутся над загоном, их длинная блестящая шерсть переливалась в лунном свете, как гранитное руно, грудь мою сжимает страх; дрожа, стуча зубами, я бегу и зарываюсь с головой в бабушкины юбки.

- Ты никогда не станешь мужчиной, - говорит мне бабушка, поглаживая мои волосы, - я отведу тебя к пастору. Может быть, он сделает что-нибудь для тебя. Тебе повсюду мерещатся черти, это нехорошо. Ангелы ведь тоже вокруг нас, но ты их не видишь. Проходя рядом с девочкой, ты краснеешь. Мы пойдем к пастору завтра, он даст нам чтонибудь из еды к обеду. Я не могу доверить тебе скот, ты никогда не научишься стричь овец и делать сыр. Я пристрою тебя на учение. А все же ты славный мальчик, - добавляет она, целуя меня в лоб.

Внезапно двор и хлев наполняются хриплыми голосами и блеянием. Джо, Арчибальд и Рой резко распахивают дверь. Мои братья ненавидят меня. Я завидую их силе, наглости и красоте, я завидую даже пятнам на их одежде. Я прячусь за бабушку,

я стыжусь своих узких плеч и мягких волос, стыжусь своей чистоты, своих тайных слез и сложенных ладоней. Ночью они вытаскивают меня из кровати и выталкивают на мощеный камнями двор. Они мажут меня навозом, иногда даже принуждают есть его. Я не кричу, мне стыдно. Коровы и овцы тычутся мордами и рогами в изгороди хлева, я сжимаю кулаки, я кусаю бархат их одежд и прохладу ночи. Бабушка слегка похрапывает под своей красной периной. Они окунают меня по пояс в холодную поилку для скота, вода разрезает меня пополам, вокруг блестит бархат одежд и розовая кожа ладоней. Легкие, злобные водяные твари скользят по моим голым ступням. Вдали, в долине, свистит паровоз. Гордость — сила моя...

– Ты хочешь, чтобы я умерла со стыда? Они засмеют меня. Ежели ты боишься дьявола, так я – не он.

Эдвард уснул. Кармилла встала, подошла к креслу, отвернула покрывало с лица юноши и долго всматривалась в него.

- Может быть, он и прав, - пробормотала она. Распустив шнуровку корсажа, она склонилась над ним и нежно поцеловала его в лоб. Она вышла в коридор. Там ее уже поджидал Герберт. Он схватил ее за талию и втолкнул в свою комнату.

Эдвард всегда сопровождал нас на прогулках. Это был каприз Друзиллы. В его присутствии она ощущала себя сильной, между нами сквозило дуновение вечности. Он заражал ее здоровьем. Я молчал. Она полностью принадлежала ему. Сжимая в руке сумку с едой, он слушал ее, не понимая ни слова. Однажды он угодил ногой в осиное гнездо; осы сильно покусали его в ступню и колено. Друзилла испугалась, усадила его на пень, заметалась, оттолкнула меня, тщетно обыскала свою сумочку в поисках лекарств, кинулась к нему, начала массировать его ногу, смочила укушенные места минеральной водой. Он все время пытался остановить ее вялыми жестами, но я видел, что ласки Друзиллы возбуждают его. Она его любила. Две недели у него был жар. Она не отходила от его кровати. Иногда по вечерам его охватывало безудержное веселье. Я слышал их смех... Когда я входил в комнату, я видел их так близко друг от друга, раскрасневшихся, растрепанных; ее сотрясает нервический смех ребенка, застигнутого братом за непристойным занятием; он, лежа на кровати, заваленной книгами, шоколадом, апельсинами, небрежно опирается на ее плечо. Я притворялся участником их игр. Считая меня сообщником, они, не стесняясь, предавались веселью тем более безудержному, что оно разворачивалось на моих глазах – мой уход повергал их в состояние тревожного ожидания.

В эти минуты веселья Эдвард раскрылся для меня с неведомой мне прежде стороны. Я не находил в нем былой неловкости и скованности. К его мрачной замкнутости это лишь добавляло очарования. Этот мрачный ангел скрывал секрет наслаждения жизнью. Друзилла играла с ним в карты на деньги – и он почти всегда выигрывал.

Он не обладал грацией Дональбайна. Полюбить для него означало пуститься в предприятие, полное пламени и проклятия.

О Друзилла, как мог я любить тебя и в то же время жаждать твоей смерти?

О Демон, как давно я в твоей власти, ты удерживаешь меня тем, что все время говоришь мне правду!..

Друзилла много путешествовала; она затащила меня в итальянское захолустье, на берега африканских озер, на пустынные плато Севенн. Один раз мы на шесть дней задержались в Дамаске. Оттуда вместе с сувенирами Друзилла привезла десятилетнего чистильщика обуви по имени Моктир. Мы дважды теряли его во время обратного плавания. Он застревал в баре, где пожилые дамы из первого класса накачивали его сладкими винами. Друзилла спускалась в трюмы, раздавала солдатам-отпускникам сигареты, оплачивала каюты для больных. Офицеры смотрели на нас с неприязнью.

По возвращении в Эшби мы определили будущее Моктира: он окончит колледж и станет премьер-министром, футболистом или поэтом. Он смеялся, совался во все щели, не отвечал на наши расспросы, днем, совершенно голый, растягивался на горячих ступенях лестницы, таскал из коллекции Друзиллы

золотые и серебряные монеты, с утра без стука заходил в ванные комнаты и спальни. Друзилла была без ума от своего маленького дикаря.

Он прожил в Эшби до осени. Когда солнце покинуло наши равнины, Моктир оставил игры, побледнел, стал нежнее, воровал меньше, вставал позже, подолгу сидел в кресле, согласился сходить к леди Пистилл, стал сопровождать Друзиллу в ее походах к пастору и прогулкам по окрестностям, вплоть до прудов Инвернесса.

Он заболел в первые дни ноября: без сомнения, он подхватил пневмонию на болотах Упсала О. Друзилла день и ночь сидела у изголовья его кровати, изо всех сил стараясь развлечь его; но он больше не смеялся, только улыбался иногда. Откинувшись на подушки, положив слабые руки на расшитое покрывало, он пристально смотрел на покрытое дождевыми струями окно, на дубовые стеновые панели, на которых сверкали блики от горящих в камине дров, на золоченых ангелочков старинных ваз, на пасторали гобеленов. Иногда слеза, выскользнув жемчужиной из-под ресниц, скатывалась по его щеке.

Он уже почти не говорил, только гладил рассеянной жаркой ладонью белых кроликов и горлиц, которых я ему приносил, и качал головой, когда Друзилла подносила к его синеватым губам сочный плод.

В солнечные дни мы выносили его на террасу. Эдвард привязался к нему, как и ко всему, что любила его хозяйка. Рука больного свешивалась с шезлонга; Эдвард порой бережно поднимал ее и подносил к своим губам; однажды в полдень его глаза при этом встретились с глазами Друзиллы; он осторожно положил руку больного на одеяло.

- Эдвард, почему вы так на меня посмотрели?
 - Но, мадам...
- Что это вам пришло в голову целовать ему руку?
 - Мне стыдно, мадам.
- Вы не мужчина, Эдвард. Этот ребенок больше мужчина, чем вы. Мне говорили, что вы не ладите с другими слугами.
 - Мадам...
- Да, Эдвард, говорят, что вы неучтивы с горничными. Вы их боитесь?
 - Как будет угодно мадам...

Покраснев, он встал со стула и ушел в салон. Друзилла, посмотрев на меня, провела ладонью по затылку Моктира.

- Зачем вы его мучаете? - спросил я, не поднимая глаз.

Глаза Моктира заблестели на освещенной солнцем лужайке, наши же словно подернулись дымкой.

- Он такой невинный.

На первом этаже хлопнула дверь, потом, выше, раздался еще хлопок. По лону равнины скользят облака, солнце целует веки, ветер целует руки. Маленький дикарь наклоняется, ныряет в траву, крутится, рвет зубами цветы, погружает голову в зеленую волну и кричит: «Я здоров! Я здоров!»

Он разбрасывает покрывала по балюстраде, снова ныряет в траву, крутится в грязи и грызет цветы.

Друзилла, подбежав, пытается поднять его, но он вырывается и убегает по лужайке. Друзилла бежит за ним. Я вижу, как они пробегают до конца лужайки и исчезают под кроной лиственницы. Эдвард в своей красной куртке, с растерянным взором, следует за мной.

- Сэр, я хочу уйти. Мадам меня не любит.
 Ночью меня терзают.
- Как? Кто? Кто вас терзает ночью? Скажите, Эдвард. Доверьтесь мне.
 - Я не могу, сэр.
- Не уходите, Эдвард. Вы знаете, я могу помочь вам получить образование. Вы мне нравитесь, но вы уж слишком нелюдимы. Мадам сама ребенок, но она вас любит.
- Сэр, этот дом совсем не то, что о нем говорят.
- Не понимаю вас, Эдвард. Присядьте рядом со мной.

Он уселся на краешек шезлонга.

- ...Вы красивый мальчик, Эдвард...

Он сильно покраснел, зарылся лицом в ладони, плечи его бархатной куртки поднялись до его огненной шевелюры.

- ...Вы не знали об этом?.. Эдвард, не будьте же смешным... Скажите, вы верите в ад?

Он поднял голову и долго смотрел на меня, положив руки на колени:

- Да, сэр.
- Почему?
- Потому что я вижу его.
- Где вы его видите?

- Здесь, сэр, в этом замке.
- Вам не откажешь в смелости, Эдвард. Господин пастор поручил вам обратить нас?

Его ладони заметались по черному бархату, на лбу, затекая в глаза, заблестел пот.

- Не смейтесь надо мной, сэр. Мои братья уже достаточно поколотили меня за то, что я видел ад. Я недостаточно ясно различаю, что у меня внутри.
- Преклоняюсь перед вашей искренностью, Эдвард. Все в вас органично и естественно. Вот вы видите здесь ад, а каков же из себя дьявол?
 - Я ощущаю его присутствие.
 - Вы заставляете меня волноваться.
- Иногда я чувствую, как он кладет руку мне на плечо, и тогда вокруг меня расстилается пустыня.
- Когда-то, давно, я тоже это чувствовал. Все тонет в белесом тумане, очертания предметов расплываются, вас сковывает холод...
 - Да, дьявол холоден...
- Снаружи задувает белый ветер, деревья, тронутые им, покрываются инеем...
- Да, да, я скольжу по жесткому насту подлеска...

– По небу плывут сгустки правильной формы... Кожаный воротник моего пальто открывается и закрывается под моим затылком, как крылья железной птицы. Я спотыкаюсь об обледеневшие плоды.

Его рука дрожала. Внутри меня проклюнулся и вырвался наружу ядовитый цветок гнусного веселья.

– Так мы с вами братья, Эдвард, мы одинаково чувствуем, мы верим в дьявола; вы ангел, это точно. Так зачем же вы пренебрегаете горничными?

Он вскочил с места. На опушке показались Друзилла и Моктир. Эдвард ушел в салон, я последовал за ним. Я положил руку ему на плечо, он повернулся ко мне вполоборота.

– Успокойтесь, – сказал я, улыбаясь, – это не лапа дьявола. Подумайте о том, что я вам сказал. Я думаю, Эдвард, мы поймем друг друга.

Он вздрогнул. Мы были – два трепетных мотылька в зале блестящих нарядов, лиц и плодов.

Друзилла впорхнула в комнату, на террасе Моктир собирал покрывала и складывал их на шезлонг.

– Ну, чем вы занимаетесь? – сказала она, приближаясь к нам. Ты утешаешь этого грубияна Эдварда? Эдвард, хотите мир?

Она протянула ему руку:

- Надулся, считает себя рабом.
- О, нет, мадам, я не считаю себя рабом.
- Так оставьте этот сумрачный вид, Эдвард, и вы будете самым красивым мальчиком в мире. Я надеюсь иметь удовольствие показать вам всю красоту этого мира. Вы мечтаете о счастье, Эдвард?
 - Я мечтаю о спасении, мадам.
- Надеюсь, это не помешает вам пожать протянутую вам руку?

Он повернулся всем телом, улыбнулся, сжал руку Друзиллы в ладонях и поцеловал ее.

– Отныне вы наш союзник, – сказала она, обернувшись ко мне, – мы будем вас защищать.

Увидев, что он собирается унести покрывала, она остановила его, взяв за руку:

- Оставьте, вы много испытали сегодня.
 Отдохните здесь с нами.
 - Но, мадам, что скажут мои товарищи?
 - У вас и на этот счет противоречия?
 - Мое место с ними.
 - Не играйте в апостола.

- Не хочу войти в искус.
- Вы сами его ищете. Вы же мечтаете о спасении?
- Да, я сказал это, но лишь немногие способны быть счастливыми.
- Эдвард, голос ребенка заставляет вас вздрогнуть?
 - Да, Мадам.
 - Тогда мы братья. Ты слышал, Ангус?

Но я отвернулся к лестнице. Июньским полднем 1937 года в Палермо, в такси, везущем нас в отель, Друзилле внезапно стало плохо. Мы возвращались из палаццо, которое нам порекомендовали наши друзья: два старика содержали там школу пения и игры на лютне и арфе. В атриуме пели дети. Два старика – белые бороды, монашеские рясы, сандалии капуцинов, довольные рожи – трескали оливки, сидя на скамье, густо запятнанной разноцветным птичьим пометом. Дети, одетые в короткие туники, пели, прислонившись к порфировым колоннам. Это был мадригал Монтеверди.

На капителях расположились голуби. Друзилла наклонилась ко мне, я почувствовал на щеке ее свежее дыхание.

- Я вижу, прошептала она нежно, голубей с перерезанными горлами, еще трепещущих на обуглившейся траве, я вижу руки, душащие одного за другим маленьких певчих, я вижу, как они падают один за другим подле голубей, их залитые солнцем тела, хрустя, коченеют под горящими оливами. Певцы и голуби, их горла трепещут в такт. Над ними жужжат шмели и скарабеи. Травы и цветы склоняются над обнаженными руками, из которых по капле вытекает кровь...
- Сядь, ответил я, мне становится страшно. По знаку стариков из группы вышел мальчик и пошел в галерею. Некоторое время спустя он вернулся, тут же вышел другой и исчез.

Мы последовали за ним; он шел очень быстро, семеня босыми ногами по прохладным каменным плитам, прижав руки к бокам. Он привел нас во дворец и остановился, упершись в стену. Обернувшись, он прижался к стене, расставив руки и ноги.

Его иссиня-черные волосы, спадающие на гладкий перламутровый лоб правильными прядями, блестели, как вороново крыло. Он смотрел на нас; тяжелые от солнца веки трепетали над большими, влажными, как кожа улитки,

черными глазами, его губы и пальцы дрожали. Мы пошли дальше одни. Анфилада небольших залов. В каждом – ребенок с лютней. Ребенок сидит на табурете. Никакой мебели. Ребенок поет. Когда мы проходим мимо, его голос слабеет, в нем слышится дрожь. Друзилла сжимает мою руку, мы возвращаемся в атриум.

Запах прогретой солнцем плоти, блики на припухших детских губах, дрожащая под каблуком смятая трава, тоска в глазах, череда взглядов. Радость убивает счастье.

На белой пустынной улице, где всех живых пожрал дракон, Друзилла обняла меня за талию...

Эдвард и Друзилла уходят по галерее. Я лежу в шезлонге. Стоит мне закрыть глаза, чтобы попытаться найти тему для мадригала, в мои мысли врывается багровая песня жаб. Прикосновение к жабам никогда не вызывало во мне отвращения. Мне даже нравилось их трогать. В детстве, в тот день, когда слуги должны были выносить столовое серебро для чистки на освещенную солнцем лужайку, я проникал в залы незадолго до их прихода с карманами и ладонями, полными жаб. Я открывал шкафы и поднимал тяжелые крышки супниц и кувшинов. Моя рука дрожала на строгом металле, сердце в груди прыгало, ноги подкашивались. Под каждую крышку я аккуратно укладывал мрачную, неподвижную, как камень, земляную жабу и убегал прочь по галерее Аполлона. Там меня ждала Друзилла, я уводил ее в комнату Венеры. Мы высовывались в окно. С каждого этажа до нас доносились веселое позвякивание посуды, скрип старой мебели, игривая перекличка слуг из окна в окно. Потом, начиная с верхних этажей, по замку расползалась тишина, слуги спускались к основанию лестницы и раскладывали на траве ларцы с посудой. Я сжимал талию Друзиллы, она повернула ко мне свое лицо, словно размытое струями воды. Серебро блестело рядом с пустыми ларцами. Первые крики рассыпались искрами. Чуть поодаль, на жаркой опушке, подняла голову мадмуазель Фулальба, ее руки заскользили по траве вокруг шезлонга, нет, вы не найдете ваши очки, любезная мадмуазель Фулальба, пока вы спали, я забросил их в бочку для полива. И при этом еще поцеловал Друзиллу над вашей рожей, лоснящейся, как прогорклое масло.

Служанки с криками разбежались, окунули свои ладони в фонтаны по четырем сторонам лужайки. Мужчины побежали следом, стараясь успокоить их тысячей тычков и беглых ласк.

Отец, с тростью наизготовку, спустился по лестнице и, задумчивый, остановился перед оскверненными фамильными реликвиями. Жабы грузно выпрыгивали из покрытых чеканкой чаш, мирно пускали слюни на соусники. Отец, увидев эту мерзость, заплакал, его трость вяло

скользила по спинам земноводных. Мадмуазель Фулальба вновь уснула в своей пещи огненной...

К вящей радости Друзиллы, Эдвард остался с нами. Теперь, уже ничего не стесняясь, она посвятила его в подробности нашей минувшей жизни; она не скрывала от него даже свои уловки. К началу зимы он был приручен.

Она не оставляла попыток развратить его, он еще с большей настойчивостью стремился обратить ее в веру. Меня несколько удивляло, что она выбрала в поверенные своих тайн существо, менее всего способное принять такую мучительную исповедь. Там, где она надеялась найти ребенка, перед ней явился мужчина. Она думала развлечься с набожным – ей попался святой, первый на ее пути. Тогда она притворилась равнодушной. Но Эдвард грацией тела и мелодией голоса властно притягивал ее к себе. Вне всякого сомнения, в ее больном воображении он рисовался демоном, какое-то время она думала, что сможет высмеять эту робость, безнаказанно истязать это сердце, которое она почитала слабым. Она пыталась не поддаваться на его красоту. Она обращалась с ним грубо и наказывала без вины; но от перенесенных обид он лишь возмужал – они изгнали из него последние черты отрочества. Иногда она даже давала ему пощечину, но после удара ее ладонь не могла оторваться от его щеки и начинала ласкать ее.

Теперь я понимал, что она больше не играет с ним. Перед ней стояло существо, обладающее большей силой, чем она, и существо это служило свету.

В какой-то миг я испугался, что потеряю ее. Эдвард мог бы овладеть ею одним словом, одним взглядом. Тогда я попытался внушить ему ложное представление о чувствах Друзиллы. Так, я сказал ему, что она хочет его развратить, что пытаться обратить ее - занятие бессмысленное и опасное. Он выслушал меня с преувеличенным вниманием и обещал мне понемногу отдалиться от нее. Но Друзилла угадала мою хитрость и, притворившись, что она удалась, стала с Эдвардом холодней и развязней. Эдвард был смиренным и послушным. Это длилось четыре месяца. Потом я понял, что Эдвард мог передать ей содержание нашего разговора. И в самом деле, они смотрели друг на друга с пониманием, и этот жалкий сговор возвращал их к прежним отношениям. Так Друзилла снова отдалилась от меня. Лишь одно ее сдерживало: она больше не желала зла, но добродетель ее пугала. Страх зла, страх добра. Одиночество и отчаяние вновь приблизили ее ко мне. Она видела все: что я обманул Эдварда, что она не могла ни двигаться дальше, ни отступить. Она стала желать смерти и пришла к ней самым мучительным путем. У нее теперь недоставало сил даже доиграть, исключительно для Эдварда, сцену его соблазнения.

Мы все время бесцеремонно мешали ей покончить с собой.

Мы отправили Моктира, после его выздоровления в колледж в Селькирке. Потом заболела Друзилла: томление, кошмары, тоска, гнев, тошнота, слезы. Она выгнала меня из своей спальни. Только Эдварду и горничной дозволено было видеть ее и ухаживать за ней. Щеки Эдварда побледнели, вокруг глаз обозначились круги. Я обедал в одиночестве. Я был спокоен. Друзилла, вся в поту, заламывала восковые руки. Эдвард ходил слегка ссутулившись. Я справлялся у него о ее здоровье. Он отвечал вполголоса, с видом священника, только что отошедшего от смертного одра.

Друзилла иногда подзывала меня к изголовью, чтобы коснуться моей руки и рассказать свои сны. Эдвард стоял в углу комнаты, глаза его были влажны, щеки горели. С какой радостью я бы ударил его, заковал в цепи. Друзилла тихонько бредила на своей смятой постели.

Пылающая комната была пуста и холодна. Я не осмеливался входить в нее один. Слуги и посетители, как волны, наваливались на меня. Я боялся этих приливов, избегал их, точно неопытный пловец. Эдвард бродил, как блуждающий огонь, по галереям, его тень скользила по деревянным панелям, накрывала мебель, обрисовывала двери, пятнала картины и гобелены.

Я сжимал руками виски, наконец осознав всю тяжесть моей невиновности.

Расскажи мне все, что ты знаешь о пытках. Это было во времена Робинзона Крузо. Скорей расскажи.

В зарослях были два провала, куда никогда не заглядывало солнце. Даже негры избегали этих гиблых мест. Корабли поднимаются вверх по реке по тяжелой желтой воде и встают на якорь у порогов, лодки с матросами скользят к заболоченному берегу. Спрятавшись за пучками ковыля, сидя на корточках, их поджидают громадные лоснящиеся негры. У их ног лежат копья с покрытыми запекшейся кровью наконечниками. Тяжелая круглая птица пролетает над ними, посыпая их плечи черной пылью. Один из них бьет ладонью по деревянному шару, и деревья за их спинами размыкаются, освобождая проход. Матросы вытаскивают лодки на песок и с ружьями в руках идут к ожидающим их неграм. Те выходят из укрытий. На берег выходит капитан, матросы расступаются перед ним. В руке у него оловянный ларец. Он протягивает его воинам. Те знаками предлагают матросам следовать за ними. Небольшая группа входит в лес: капитан в синем кафтане, волосатые матросы и громадные блестящие негры. Рука реки качает корабли, их старые снасти скрипят.

В деревне процессию ожидает вождь, окруженный женами и старейшинами. Капитан приближается, вождь сжимает в руке копье. Потом он широким жестом распускает настороженных воинов.

Рабы заперты в клетке в глубине деревни. Тени леса зелены; выпущенных из клетки рабов гонят к берегу.

Это вражеские пленники, их открытые раны еще кровоточат. Пленники и стражники стонут. Капитан в синем задержался у вождя.

Старый раб с распоротым копьем животом падает в трясину, негр измазанной в красной тине ступней отгибает его голову назад, старик трясется и молит о пощаде, негр нацеливает копье и двумя руками вонзает его в горло раба. Брызнувшая кровь пачкает синий кафтан капитана. Тот в ярости пинает голову мертвеца. Негр, присев на корточки, вырывает

его глаза, потом поднимается, вытирая ладони о бедра. Матрос подходит к капитану и трет его испачканный кафтан своей шапкой. Все кругом смеются, юнга, опершись на эвкалипт, блюет на его корни.

В корабельном трюме стонут рабы, они шевелятся в просоленной мгле, заламывают руки, дрожат от голода и страха. Теперь они – одно тело, одна плоть, одна голова. Юнга спускается к люку, открывает его; он видит в ржавой тьме неподвижное тысячеглазое тело, бросает краюху хлеба и тут же закрывает люк. Лежа на палубе, он слышит протяжный вой, ощущает, как на его горле смыкаются челюсти рабов, он кричит. Его окружают матросы, он кричит, обхватив руками горло и прижав колени к животу. Матросы поднимают его могучими руками, он прекращает кричать, блюет, потом кричит снова.

С мостика спускается капитан, матросы расступаются перед ним, один из них поддерживает мальчика. Капитан подходит к нему, треплет его за подбородок и кричит: «Юнгу отнести в лазарет! Вы все следуйте за мной, заставьте негров замолчать, повесьте троих самых слабых на рее, перед остальными!»

Мальчик кричит, лицо залито солнцем, он пьян могуществом и нежностью, глаза омыты воспоминаниями, лодыжки сведены судорогой, бедра налиты жаром. Он помнит всех чаек Экватора, все твари морские гладят его плавниками, он верит в сирен, в его груди гнездится орел, сердце его заключено в ракушку.

 Я синий капитан, я вождь, я негр, я раб, я маленький юнга.

Друзилла закрывает глаза руками, ее голова скатывается на подушку. Уже два дня она требует от меня историй о неграх. Тот негр из рассказа леди Пистилл по ночам ложится к ней в кровать, ласкает ее ладонями, наполненными тиной и кровью. Потом, держа ее за талию, он становится кайманом и наваливается на нее. Друзилла падает с кровати. К ней подбегает Эдвард, она плюет ему в лицо и приникает к нему. Она хочет, чтобы ее купили, как негра, чтобы ее били, убили, чтобы ее труп привязали к стволу и бросили в реку, чтобы ей раздробили члены, чтобы ее любили за деньги, чтобы ее показывали на ярмарке. Покачиванием головы она изображает походку негра, она ощущает ветер морских просторов на своих щеках, удар кнута на затылке, она слышит крики, стоны и шум волн.

Но под ее желанием освобождения скрыто желание торговать своим телом.

Иногда по утрам, пока горничная одевает и причесывает ее, она рассматривает свое надломленное тело, гладит груди, руки, трогает вздувшиеся вены.

«Пожалуйста, приукрасьте меня слегка, – говорит она горничной, – сейчас придет Эдвард, я не хочу, чтобы бедный мальчик испугался, увидев меня такой». Она так нежна по утрам, когда в ее комнате открывают окна и видно живое небо. Тогда она больше не вспоминает негра ночного кошмара.

Бред возвращается к ней после полудня.

Часто в бреду Друзилла рассказывает о совершенных ею некогда жестокостях, о которых я прежде не знал. При этом Эдвард прячет глаза. Мальчик из Палермо неуязвим. Преследуемая по пятам раками и блестящими насекомыми, мадмуазель Фулальба бежит через раскаленные кусты, дышащие жаром поля и долины, раскрытые, как рты.

Я держу ее за руку. Друзилла боится попранной ею земли и растоптанных ею цветов. По ночам ее окружают, ласкают, душат, утешают гигантские птичьи перья.

«Ангус, – говорит она иногда, – груз моих бесчинств гнетет меня, мне горько вспоминать о животных, замученных мною в детстве. Агнус, мы грешили против своей природы. Я измучена снами. Тебе не страшно от того, что скоро я могу умереть?.. От того, что ложь пятнает твою душу?.. Ангус, даже ненависть наша печальна».

Отчего же, меня пугала порой пустынность моей души, я удивлялся тому, что не могу

ни страдать, ни любить. Раскаяние происходит от упадка телесных сил. Я всегда любил шквалистый ветер. У меня нет амбиций, я всегда презирал людей амбициозных. Я никогда не верил в случай. Сама идея судьбы мне глубоко чужда.

Друзилла слабела день ото дня. Теперь она начинала бредить до полудня и засыпала лишь на исходе ночи, измученная, разбитая, дрожащая от страха. Я начал понемногу рассчитывать слуг. А еще построил в Джефферсоне больницу и нанес визит пастору с тем, чтобы предложить ему деньги на ремонт храма.

Иногда я жалею о том, что встретил тебя. Душа моя – земля, скованная льдом. Я слышу в моей душе неумолимую поступь мороза. В один осенний полдень, когда ты уезжала в колледж, я долго бежал за большой зеленой машиной Джонсона. Ты посылала мне воздушные поцелуи через заднее стекло. Когда автомобиль свернул на шоссе, я остановился на перекрестке. Порыв ветра обрушил на мои плечи поток дождевой воды с листьев орешника. Автомобиль исчезал в тумане, но я еще мог различить затянутую в черную перчатку руку Друзиллы: она махала мне в левое окошко... Я запрокинул голову под стекающие с дерева струи. Зеленый дождь хлестал меня по щекам, вымывая слезы из моих глаз. Выкрикивая твое имя, я бросился в намокший, шелестящий под дождем лес. Я клялся выкрасть тебя. Я видел, как ты сидишь на блестящем окаменевшем пне. Я сбивал ладонями разрушенные осенним ненастьем осиные гнезда.

На опушке я набрел на охотничью хижину, срубленную из бревен и веток. Стараясь не шуметь, я обошел ее кругом и прильнул глазом к щели между бревнами. Намокшая, пропахшая дождем одежда липла к моей коже. Я потер ослабшими ладонями покрытые грязью коленки. Я уже не плакал.

В хижине, на подстилке из ветхой овчины, лежала колдунья Фулальба. Грудь ее была обнажена, лицо блестело от дождя или пота; ладонь молодой крестьянки в мокром платье скользила по ее сморщенной коже.

Я закричал, я забегал вокруг хижины, хлеща по ее стенам еловой веткой. Я знал, что теперь они вскочили с места, наскоро оделись, что они дрожат и закрывают лица вялыми, смятыми ладонями. Я бью, бью по стенам, я кричу: «Эта тварь трогала Друзиллу! И ее тоже трогала!»

Небо у горизонта – словно алая полоска губ. Я выбил дверь, я говорю крестьянке: «Эй ты, уходи, это колдунья, теперь твои руки сгорят, ты останешься без рук. Уходи!» Громко заверещав, она убежала. Мадмуазель Фулальба, медленно поднимая руки к лицу, отступила к стене, я видел, как ее глаза блестят между

пальцев. Я сжал ветку двумя руками и ударил ее. Дотемна я смотрел, как она падает, извивается в грязи, поднимается на колени, целует мои ноги, кидается на стены и дверь, задыхается, расстегивает ворот платья. Наконец мои сгорбленные плечи сотряслись от рыданий:

«Она трогала Друзиллу! Она трогала Друзиллу!» Еловая ветка упала к моим ногам. Дождь перестал. Я вышел из хижины и побрел на опушку. Охотники за ночной дичью сложили свои плащи и пелерины под лиственницей. Они поздоровались со мной. Один из них увидел, что я плачу, подошел ко мне и положил мне на плечо свою тяжелую, пахнущую дымком ладонь. В этой ладони ощущалась тяжесть рабочего дня, разноцветная песнь полей, жар и прохлада лесов, гудела усталость его тела, текла влага его сердца; мое лицо трепетало в его высокой тени, как покрытый рябью пруд без решеток и балюстрад.

Любовью светилось мое лицо. Внутри меня выросло дерево. Всякий раз, как разговор заходил о тебе, на ветвях его распускались цветы.

Теперь ты от меня далека, изъедена болью, покорена, измучена, тронута тлением и

распадом, ты в агонии, ты видишь то, чего не вижу я, слышишь то, чего не слышу я, ты прикоснулась к пустоте, ты находишь дорогу там, где я упаду, разум оставил тебя.

Смерть Друзиллы

Теперь я могу ее видеть в любой час дня или ночи. Перед тем, как войти в ее комнату, я поднимаю воротник куртки, словно на опушке влажного, сочащегося миазмами леса. Я подхожу к ней, не зная, улыбнется она мне или оттолкнет. Наклоняясь над ней, я дрожу от мысли, что она может плюнуть мне в лицо. Когда ее ладонь приближается к моим глазам, мне становится страшно. Я боюсь зловонной тени, стерегущей ее, как дракон. Эдвард ее не боится, он удерживает ее в жизни, впитывая ее смертный пот своими напряженными руками, своим тяжелым от желания телом.

Медленно приближается ночь. Вот она подходит к окну, нетерпеливая царица с покрытой золотом, как у саламандры, грудью; вот она поднимается в оконном проеме, милостивая и губительная влага, змея, змея. Нахлынув с заходом солнца, она скользит из лиловых кустов, ползет по накрытой тенями деревьев

траве, подступает к домам, к фермам вместе с размытыми очертаниями возвращающихся с пастбищ животных, сталкивает школьника с разбитой дороги, закрывает изгороди, правит природой и людскими сердцами.

Медленно приближается ночь, укрывая мои плечи чернильным руном.

Ил поднимается мне до колен. Я слышу дыхание Друзиллы в соседней комнате; когда я открываю дверь, я вижу громадного серого краба, прячущегося в тень комода, и липкие соленые следы на паркете.

Эдвард плавает в этом аквариуме, как черная медуза. В продолжении его жестов – цветение, приливы и череда теней. Сегодня страстная суббота. Мрак хватает за горло. Грусть – временное зло. Здесь скрыт свет дня, солнце ночи, щека в конце сырой дороги.

Тень грызет ее руки, я целую черствый хлеб ее щек. Безумие изогнуло ее тело, как обгоревшую ветку. Ее глаза смотрят на меня, как озера, скованные льдом.

Эдвард поднялся к себе, чтобы переодеться к церковной службе.

Хотел бы я проникнуть в его душу. Губы его дрожат, но я подозреваю его в холодности и равнодушии. Он живет лишь противоречиями, и вся его привлекательность исходит из угнетения плоти. Его влекут великие страсти, но он остается верным своим детским обидам. Когда он хочет оставаться непреклонным, он смягчается. Его оружие – улыбка, и он осведомлен об этом. Осознавая в себе презрение к кому-либо, он способен даже это чувство выразить улыбкой. Он хочет быть волевым человеком, но удается ему быть только упрямым.

В его глазах, правда не вполне ясно, читается то, что его беспокоит – желание победить в бою и страх перед возможными ранами.

Он спускается. Когда он проходит мимо, я ощущаю запах ребенка после ванны. Хочу погладить его руку, зарыдать на его парящей груди, раствориться в нем; я его ненавижу, я ненавижу его ясное лицо, по которому проплывают фальшивые облака отрочества, я ненавижу неловкость его рук, скованность бедер и дрожание щек.

Ненависть изматывает. Я жил близ реки, но деревья и кусты скрывали ее от меня. Я увязал

в окружающих ее болотах. Иногда до меня доносилось ее журчание, ее ядовитый запах; жесткие травы, зеленые, как камни, раскрывались передо мной с треском раздираемой плоти.

Ты, что удаляешься от меня, как отплывающий от пристани парусник, я теперь – пустынный порт, кружащийся в студеной ночи. Иногда по ночам я ощущал тебя рядом как вихрь в лесу, как груженый золотом корабль, как чайку, полную влаги и мрака. Ты плакала. О, мои губы на серебре твоих щек!

Одиночество мое будет ужасно; мои плечи слабеют.

Прежде, когда я ощущал себя слабым, я предпочитал уступить этой слабости. Когда я ощущал себя сильным, я подчинялся этой радостной силе. Но оба этих чувства я считал одинаково плодотворными – я недисциплинированный исследователь.

Истинный разум состоит в том, чтобы каждый раз доходить до пределов самого себя. Теперь я поднимаю голову и вижу сверкающие фасады, крутящиеся в твердом небе с шорохом горящего бархата. Я поднимаю голову и говорю: «Не зря я хранил мое сердце чистым: моя плоть

и мое сердце истощены; разрушительный шквал, как первая буря весны, свирепствует в них, ледяной вихрь, насыщенный тиной; тяжелые тени и капли, как пальмовые листья, стучатся в мой лоб, как в песчаный атолл, моя ладонь под ними – мирный парник посреди сада».

Вихрь заглушил ненужные слова: все теперь – только вихрь и молчание. Желтые воды, серебристые воды, зеленые воды текут, бурлят, блестят у подножий дворцов.

Вспышка молнии освещает лужайку.

По ночам, перед пробуждением мертвенной равнины, ты шелестела под белесым окном, твои щеки дрожали. Ты – лучащийся тополь, освещающий строгие контуры елей. Вслушиваясь в твой голос, я забывал лики безумия и греха. Я скользил по твоим бедрам – склонам неистовой бури.

Друзилла, перламутровая весна, ирис морей, изумрудная тюрьма, болотный мед, магнолия под снегом, утренняя обитель, вечерний покой, поля из крови и перламутра, озеро крика, роса на плечах, глубокие снега, дождь в океане, листва воды, орел ветра, орел солнца, связка тростника.

Друзилла, утро с привкусом горечи, утро цвета извести, дымка эвкалипта под жестоким солнцем, крик света на границе моего сознания, полуденный ручей, травяное ложе, солнечный карп, невидимая саламандра в сумеречной тине, речной мед.

Эдвард выходит из своей комнаты, снимает телефонную трубку, звонит доктору леди Пистилл. Я выхожу в парк. Там, в глубине, за псарней и домиком охраны, есть остужающее, утешающее снежное пятно. Джонсон бежит к замку. Я прохаживаюсь. Снег хрустит, как меренги. Я прохаживаюсь. Я смеюсь. За мхом и плющом слышится ворчание псов. Я слышу шум реки, но не знаю, куда она течет. Освобождение близко. Я ощущаю его, как легкий бриз на щеке.

Друзилла умерла под вечер. Леди Пистилл со своим врачом приехала на зеленой машине Джонсона. В глубине парка выли собаки. Леди

Пистилл позвонила в Селькирк: директор колледжа сказал, что ребенок будет срочно отправлен к нам; Джонсон снова сел в зеленую машину. Эдвард заперся в прачечной.

Я вышел на мокрую террасу, над блестящими каменными плитами скользили стрижи. Я прижался лбом к балюстраде. Я не заметил, как опустилась тьма. Сосновый лес в долине Эшби склонялся и шумел, как живая крепость пророков. Собаки Джонсона, которых забыли запереть, носились по лугу. Одна из них подбежала к моим ногам. Свет за моей спиной стал резче. Все тени, все запахи болезни, скопившиеся за последние месяцы, растворились в ночи.

У садовой решетки я увидел Кортни. Он подошел по аллее ко мне и положил руки мне на плечи.

- Я вернулся с Кипра, сказал он, услышал известие и отплыл в Бервик.
- Спасибо, что приехали. Не поможете ли мне нарвать веток для венков?

Мы углубились под кроны лиственниц. В своем намокшем, облепленном иголками кителе он походил на школяра. Рядом, почти щека к щеке, мы срывали легкие хвойные лапы. Зеленая машина вновь пересекла лужайку. Мальчик,

закутанный в потертый дорожный плед, вышел из кабины. Джонсон взял его за руку. Они стали медленно подниматься по ступеням. Леди Пистилл в лучах прожектора протянула ладони им навстречу. Замок закрыл старые дубовые веки ставен, сомкнул гранитный рот. Вдоль аллеи раскачивались ирисы.

ЭПИЛОГ

Письмо майора Кортни Бона Валентину Шевелюру

Бервик, лето 1952

Вы просите, мой друг, рассказать вам о последних днях лорда Эшби. Вас интересует, в каком расположении духа он покинул наш мир. Но вы должны знать это лучше меня – благодаря вашей молодости вы проворнее, чем я, разгадываете тайны жизни и смерти, делаете их постижимыми и обыденными. Лорд Эшби умер, как и жил – одиноко; он жил с холодной душой и умер от холода. Его нашли в поле, под низким серым небом, глаза запорошены снегом, в руке зажат пучок замерзших можжевеловых веток. Искавший его с вечера лакей лишь под утро обнаружил его покрытое корочкой льда тело.

Смерть леди Друзиллы повергла его в оцепенение, лишь изредка прерываемое вздохами и судорожной дрожью. Он предстал перед нами с белым лицом, мрачным взглядом, раскрытыми губами. Когда его пригласили войти в комнату покойной, он слабо шевельнул рукой, словно отказываясь, но потом

спокойно подошел к смертному ложу. Он склонился над лицом покойной, поцеловал ее в лоб, потом внезапно повернулся и решительным жестом приказал посетителям и слугам удалиться. Глубокой ночью он вышел из замка с телом на руках, направился в конюшню, сел на неоседланную кобылу и, прижав труп к конской гриве, ускакал в ночь. Припозднившиеся рыбаки видели, как он соскочил с лошади у пруда, перенес тело в лодку и направил ее к середине водоема. Поутру проходившие по берегу школьники заметили, что он, бледный и хрупкий в тумане, лежит в лодке поверх трупа. И вечером он лежал так же неподвижно. Цыгане, разбившие свой табор на холме над прудом, разожгли костры; на поверхности воды, еще недавно непроницаемо черной, заплясали отблески пламени; лорд Эшби очнулся и, поднявшись в лодке, погреб к берегу. Однако он был один, мертвое тело исчезло.

С тех пор жизнь в замке понемногу наладилась. Я снова встретился с лордом Эшби в июне. Когда я приехал в замок, все окна фасада были освещены; я нашел Ангуса на лужайке, он вышагивал взад-вперед по траве, не отрывая взгляда от этой необычной иллюминации. Он заметил мое удивление. «Я не могу видеть эти окна погасшими, — сказал он, — я

пытаюсь представить себе, что сегодня праздник». Потом он положил мне ладонь на плечо и пробормотал: «Я очень несчастен, мой дорогой Кортни, но она спит там, в воде, она стала камнем, горой, болотом. Нет, нет, я больше ничего не могу сделать для нее». Мы вошли в салон, лорд Эшби приказал приготовить мне комнату: «Знаете, маленький Мелифонт создал ей репутацию колдуньи? Дороти де Карнавон говорила мне о том же, когда мы еще были детьми. Друзилла зашла дальше, чем другие, потому она и умерла. Колдунья...» До конца вечера он был почти весел; мы играли в шахматы – в этой игре он с детства выказывал блестящие способности. Он проводил меня до моей комнаты, жалость к нему переполняла меня, но я не знал, как ее выразить. Когда он желал мне спокойной ночи, его голос дрожал. Ночью я слышал его шаги над головой. Вам небезызвестны, мой друг, обстоятельства, при которых два года назад скончалась моя супруга Дороти. Не в первый раз после тех печальных событий я ночевал в Эшби, но я не мог ненавидеть леди Друзиллу, мои мысли стремились к ней, и заря застала меня плачущим от ярости в подушку, мое лицо горело, я вспоминал все подробности нашей последней встречи. Невозможно забыть ее глаза, устремленные на вас, холодные и яркие, как капли росы, зеркала, полные облаков и ветра.

Невозможно забыть свежесть ее ладони, неожиданно положенной вам на плечо — так наказанный ребенок, долго плакавший, стыдливо просит прощения. И еще ее голос, голос ночи и листьев, вкрадчивый, детский, невинный и вдруг срывающийся в страсть.

Лорд Эшби всячески старался заставить других почитать себя безбожником, но святотатство приводило его в ужас, он презирал неверующих. Либералы из Бервика постоянно посылали ему свои брошюры, являлись с визитами — тщетно. Лорд Эшби был слишком скромен, чтобы выставлять свои чувства напоказ. Он высмеивал шествия, дискуссии, доктрины. Для него История была прекрасной или жестокой, одним словом, волнующей, только в книгах.

Лорд Эшби жил в стороне от схватки. Он ненавидел грех, хотя и был его рабом. Он погружался в него с яростью – скрытой яростью, в которой не было ни капли лицемерия, – словно в новое размышление о себе самом.

Ближе к осени я узнал, что он начал распродавать свои земли. Он написал мне короткое письмо, в котором признавался, что разорен. Я приехал в Эшби. В округе замок вновь стали считать логовом дьявола: девушки исчезли, юноши большую часть дня были пьяны, в лесу видели людей в масках, а в

окнах замка – совершенно голого графа. Я застал его в библиотеке. Полагаю, что под его диваном спрятался мужчина, потому что Ангус, слегка покраснев, сразу вывел меня из зала. В его жестах была заметна какая-то суетность, которую я поначалу отнес на счет неожиданности моего визита. Я передал ему слухи, которые ходят о нем в близлежащих деревнях, но он мне даже не ответил. Я стал говорить о Лауре Пистилл, о радости, которую он доставил бы ей своим посещением. «Что мне делать у этой свихнувшейся старухи? - сказал он, нахмурившись. - Вы, видно, сговорились с ней на пару обратить меня в веру... Останьтесь у меня и приготовьте к ужину проповедь поскучнее». Здесь он оставил меня и вышел; я хотел догнать его, говорить с ним, но он взбежал по главной лестнице, по ходу подозвал к себе молоденькую служанку, схватил ее за руку и потащил по галерее Аполлона.

Итак, лорд Эшби продолжал вести ту же, полную порочных радостей жизнь, только с еще большей яростью и, не таясь, при свете дня.

Я вернулся в библиотеку и уселся в кресло, положив книгу на колени. Руки мои дрожали. В комнате ощущались слабые запахи трав и молока, на мебели виднелись грязные разводы и кое-где отпечатки ладоней.

Стемнело; против своей воли я решил остаться на ночь. Признаюсь, у меня не было ни малейшего желания обращать его.

За обедом он был очень внимателен ко мне, но это не могло ввести меня в заблуждение. Граф Ангус, без сомнения, был существом двуличным. Его вторая натура таилась под первой, любезной и мечтательной. Бунт, буйство эмоций, страх действия непостоянство, грубость могли лишь угадываться под маской. Он носил ее без усилий, ибо, надо признать, он обладал врожденной смелостью. Он интересовался всем, он хотел познать все возможные чувства и ощущения, но, испытав что-либо новое, он снова овладевал собой, так что его уверенное воцарение в новых областях духа можно было принять за безразличие. Себя он видел ясно, но вряд ли как живую личность, скорее как абстракцию. В любой из окружающих вещей он тут же находил нечто враждебное. Он был полностью сосредоточен на любви к себе. Он прощал сразу после обвинения, объяснялся в любви словами, полными безразличия или ненависти, ненавидел с улыбкой. Он окружал себя лицемерами и испытывал отвращение к сборищам рассеянных денди.

Он притворялся равнодушным, но сам же и страдал от репутации черствого человека. Быть

одиноким — его призвание, и только боль старых душевных ран смущала его одиночество. Тогда он говорил в полный голос в своей пустыне, проклиная двух-трех бывших друзей, подмигивая в ответ на вопросы, сожалея о своей мягкости или о своих привязанностях. В общем, людская пошлость сделала его меланхоликом.

Его тошнило от глупости, но дуракам ничего не стоило его уязвить, потому что он не мог удержаться от вразумления. Тогда он сбрасывал свою маску и, взбешенный, отвечал на вызов, в то же время понимая, что поступает неблагоразумно.

Отчаяные больше трогает меня в женщине, чем в мужчине. Отчаяние Друзиллы возбуждало желание обрести такое же несчастье, пасть так же низко. Отчаяние Ангуса хотелось оспорить или поднять на смех.

Итак, в начале ужина он был любезен. Потом, когда слуги уносили приборы, он свистнул и два раза хлопнул в ладоши. Все окна были раскрыты навстречу подступающей ночи, светлячки оставляли на ковре неясные блики, ветви деревьев, омытые ветром и луной, нежно соприкасались.

Непостижимая тишина объяла небо, деревья и воды. Скорбная тишина, похожая на изморось. За

окном, в холодном дыхании луны, умолкли напуганные птичьи хоры. Лишь земля раскачивалась в неслыханном ритме. Голоса доносились, лица блестели словно издалека. Лорд Эшби снова ударил в ладоши. И вот слуги, самцы и самки, рассыпались по комнате, как отпущенные на волю птицы. Не стану вам их описывать, вам знакомы цвет и форма их одежд, их походка и их голоса. До рассвета я пребывал в аду. Вся эта человеческая масса извивалась и колыхалась в сине-золотых вспышках у ног Ангуса. Полночный бриз холодил пот на лбах, поднимал спущенные шторы, раздувал волосы у висков.

Посреди ночи два полуголых лакея втолкнули в комнату Эдварда. Они сказали, что схватили его во время молитвы. По залу проносился легкий шум и шорох многих тел. Тени нескольких пар еще колыхались в углах.

Он спросил у молодого Эдварда, как тот провел ночь, задал еще несколько ничего не значащих вопросов. Потом он усадил его рядом с собой и предложил фрукты и напитки. На столе оставались красные яблоки и заморские вина. Эдвард выпил немного красного вина. Ангус гладил его плечи и шею. Плача, он обещал обратиться в веру. Эдвард молчал, его глаза излучали спокойствие. Без страха и отвращения,

с достоинством, он уклонился от ласк Ангуса. Поднявшиеся с пола слуги смотрели на них, слушали их. Граф Ангус жаловался на одиночество, на необузданность своих желаний, но Эдвард уже ничему не удивлялся. Смерть леди Друзиллы и смертельная схватка с соблазном лишь упрочили силу его смирения. В его манере внимать лорду Ангусу проявлялись его самообладание и вера. Он судил и молился. Он видел безмерную гордыню своего хозяина и безмерное милосердие Господа. Отныне Ангус принадлежал той части человечества, которая категорически отвергала возможность чуда. По его лицу, как по осеннему лугу, пробегали Божий свет и тени Дъявола. Но его еще можно было любить, сочувствовать его тоске, его боли, ибо он еще не был мертв.

Эдвард чувствовал все это. Он был одержим Богом. Передо мной сидел святой.

В мир, впивая тени ночи, робко вошла заря. Слуги, обнявшись у окна, дрожа, кутали нагие плечи в шторы и драпировки. Граф Ангус сидел неподвижно, он не ощущал обезоруживающей рассветной свежести, которая делает из сурового мужчины мальчика, лишает его голоса и зрения. Я видел, как он обнял Эдварда. Отныне я не мог произнести ни слова. Дух сошел на эти потные лица, на эти плечи,

волнующиеся в молочном блеске окон, как расплавленное золото.

Внезапный крик раненого зверя; Эдвард роняет на скатерть светлую голову, словно уснувший ребенок или пьяный. «Обморок, унесите его в его комнату». Пока он произносит эти слова, я замечаю в его левой руке блеск лезвия кинжала или стилета. Пока слуги, объятые паникой, толпятся у двери за спинами двух лакеев, уносящих Эдварда, я подхожу к Ангусу. Он поднимает ко мне бледное лицо. «Что ты хочешь от меня? — произнес он спокойно. — Его отнесут в постель; здесь тебя ничто не должно удивлять. Мы все пленники». Поглаживая полупустой стакан Эдварда, он подается вперед, чтобы встать со стула. Я кладу ладони ему на плечи; он рывком поднимается, отталкивает меня и убегает по галерее.

Эдвард умер тем же вечером. Весь день Ангус провел, запершись с ним в его комнате. Я слышал, как он плачет, катается по постели, говорит с умирающим, оскорбляет и покрывает его поцелуями. «Плюнь мне в лицо! – кричал он. – Говори, прокляни, оскорби меня, осуди меня, не смей меня благословлять. Хоть теперь стань дьяволом!» Потом, стеная, он умолял принести ему воды. Лакеи заперли меня в соседней комнате.

К вечеру меня освободили. Ангус ходил по террасе. Один из лакеев подошел к нему и сказал, что к замку движется толпа крестьян. «Принесите мне бинокль», — приказал граф. Лакея звали Брэмар, он был другом Ангуса. Он вскоре вернулся, протирая линзы синей тряпкой. Другие слуги молчали, укрывшись в тени. Некоторые из них, возбужденные опасностью, обнимались. Граф Ангус, поднеся бинокль к глазам, увидел крестьян, подходящих к ограде парка, но не сказал слугам ни слова. Можно было подумать, что он хочет вплоть до развязки наслаждаться их беспечностью и развратом. Он уселся на каменную скамью; я заметил, что его глаза красны, но губы не дрожат. Через несколько минут я услышал шум толпы.

– Слышите, как шумит море? – спросил Ангус, повернувшись к слугам.

Но те словно застыли на месте. Прошло еще несколько мгновений ожидания, и молодой Брэмар вскрикнул:

- Впереди идет мой отец, у него ружье!
- Пошли со мной, сказал Ангус, мы поговорим с ними.

Они спустились по лестнице.

– Он пришел убить меня, – все время повторял Брэмар, и его голос, по мере удаления от нас, звучал все тише.

Раздался выстрел. Ангус закричал:

– Берегись, он целит в тебя! – и закрыл юношу своим телом.

Увидев, как граф падает к его ногам, Брэмар убежал в кусты. По толпе пробежал гул. Раздался детский крик:

- Они убили графа Эшби!

Толпа отхлынула. Я спустился к телу.

- Мы просто пришли потребовать у него отчета, промычал стрелявший мужчина.
 - Идите прочь, крикнул я, и молите Бога!

Я поднял его на руки; он был еще жив. Мы положили его в галерее Аполлона на скамью, покрытую синим королевским бархатом. Я оставил его на несколько минут на попечение слуг, чтобы позвонить доктору и Лауре Пистилл. Когда я вернулся, на скамье его не было; в окно я увидел Брэмара, уносящего его на своих плечах к машине. Мы искали его всю ночь. Под утро я вернулся в замок. Когда я проходил мимо комнаты покойного Эдварда, мне навстречу из нее выпорхнула девушка. Ее юбка была смята, она улыбалась.

- Что ты там делала? спросил я ее.
- Меня зовут Кармилла. Однажды ночью Эдвард отказал мне. Как нежна его кожа! Он не отталкивал меня и не дрожал!

Я закрыл лицо ладонями. Она заметила, что от ужаса я потерял контроль над собой, и положила ладони мне на бедра.

– Убирайся, – закричал я, – твой хозяин спасен! Она, смеясь, побежала к лестнице.

Ночь еще омывала стены. Как безумный, я бродил по замку, открывая одну дверь, закрывая другую, я ложился, вставал, прикладывался к привезенной Друзиллой из Мексики бутылке крепкого ликера. Утром мне показалось, что я очнулся от кошмарного сна. Я плакал, друг мой. Люди графа медленно пересекали парадный двор, окружив лакея, нашедшего Ангуса; тот нес его на руках, его плечи были мокрыми от росы.

Вот, дорогой друг, и весь рассказ о смерти лорда Эшби. После греховной жизни он умер, как герой. После последнего преступления он, по рассеянности, искупил свою вину. Распятый страстями, он умер, утешенный ими. Страсти – ностальгия по раю.

Уже несколько дней я живу у леди Пистилл, мы часто говорим о вас. Леди Пистилл занята своими внуками. Из кладовых достали самокаты, вокруг фонтанов построили ограды. Лежа на зеленой

кушетке, я с огромным удовольствием перечитываю Вальтера Скотта, а хозяйкины спаниели лижут мне ладони и щеки.

Лето в разгаре. Повернемся лицом к солнцу. Забудем Эшби, забудем Ангуса и Друзиллу. Наконец разжав объятия, теперь они спят под высокой травой, питая собой эту землю, которой не хотели служить во время своей ужасной жизни. Мы не можем любить их, не став их сообщниками. Мы любим проклятых.

Видят ли они теперь друг друга, страдают ли они? Они достойны жалости. Достойны жалости и мы, ибо созданы по образу и подобию Божию.

Париж, Сен-Жан де Бурне, 1963

ИНТЕРВЬЮ С ПЬЕРОМ ГИЙОТА

Маруся Климова: Пьер, должна признаться, я даже несколько удивлена обилием посвященных вам публикаций, которые сейчас можно обнаружить практически во всех ведущих парижских изданиях. Все-таки ажиотаж вокруг вашего появления в литературе в шестидесятые годы кажется мне более понятным, поскольку, помимо прочих сопутствующих обстоятельств, связанных со скандалом и цензурными запретами, ваши книги, на мой взгляд, оказались тогда еще и чем-то созвучны популярным лингвистическим и философским концепциям творцов так называемого «нового романа», которые объявили себя противниками традиционных литературных жанров и занимательности. Большинство этих теорий сейчас уже очень трудно вспомнить, а ваши книги активно издаются и переиздаются...

Пьер Гийота: Я не думаю, что можно както связать то, что я пишу в настоящее время, с 60-ми годами. Конечно, я начал печататься

именно тогда, но даже имевшая шумный успех «Могила для 500 000 солдат», опубликованная в 1967 году, практически никого отношения к «новому роману» не имеет. Правда, сразу после выхода «Могилы» я действительно довольно близко сошелся с людьми, которые группировались тогда вокруг «Тель кель». С Филиппом Соллерсом, например, у меня до сих пор сохранились дружеские отношения. Однако никто и никогда всерьез не связывал мое творчество с «новым романом». Барт, Соллерс и Лейрис написали предисловие к «Эдему», но, опять-таки, эти люди просто поддержали меня в трудный момент, когда эту книгу собирались запретить. Правда она все равно была запрещена, несмотря ни на что...

Кроме того, не могу сказать, что после того, как утих шум всех этих скандалов, я был как-то обделен вниманием читателей. В 70-80-е годы я много писал для театра, участвовал в театральных постановках своих произведений: той же «Могилы», например, которая была представлена на сцене театра Шайо Антуаном Витесом и имела большой успех. В начале 80-х годов я вообще почувствовал, что голос, мой собственный голос, стал важнее

для меня, чем письмо. И я поехал в Соединенные Штаты, чтобы устроить там «чтения-перформансы», во время которых я даже не читал, а скорее, «изрекал» свои тексты. И аудитории почти всегда были переполнены. В 1987 году мой друг, режиссер Алэн Оливье, поставил на сцене театра Бастилии мой «Бивуак», и мой голос тоже звучал там из-за кулис. Вся пресса отметила это как событие сезона...

Однако сейчас ситуация действительно совершенно иная – вы правы. Правда какие-либо ассоциации с «новым романом» или же «Тель кель» вряд ли способны повлиять на то, что сейчас обо мне так много пишут в журналах и газетах, поскольку этот интерес вообще очень слабо связан с прошлым. Хотя бы потому, что я чувствую сегодня внимание главным образом со стороны молодежи, то есть представителей нового поколения, многие из которых, наверное, и вовсе ничего даже не слышали про «новый роман» и сопутствовавшие ему литературоведческие теории. Просто то, что я делал, всегда как бы немного находилось над тем, что происходило в литературе. Помню, когда я закончил «Эдем», то я лишился сна и чувствовал такой подъем, такую энергию, как будто парил высоко над землей. И все потому, что я внезапно вдруг почувствовал, что написал так, как во Франции (а возможно, и во всем мире) не писал еще никто. И теперь я чувствую почти то же самое. Я знаю, что мое творчество радикально отличается от всего, что сейчас пишется во Франции, всей нынешней литературы...

МК: А секс и насилие, о которых вы так много писали в своих первых книгах, по-прежнему занимают в вашем творчестве главное место?

ПГ: Я бы не сказал, что сегодня меня больше всего занимают секс и насилие – скорее, рабство, то есть подчинение человека человеком, в том числе и через секс, который является мощным инструментом психологического подавления. Хотя, наверное, в своих первых книгах я, действительно, уделял очень много внимания насилию, поскольку, как вы знаете, принимал участие в алжирской войне и знаю, что это такое, не понаслышке. Но постепенно все-таки акценты немного сместились, и теперь главным для меня является вопрос рабства, порабощения, подчинения

одного человека другому. Причем это не политическое порабощение, а, в первую очередь, психологическое и телесное – ведь в супружеских парах, например, тоже происходит порабощение одного партнера другим. Я бы даже назвал это онтологическим порабощением. Вот эта тема волнует меня сегодня сильнее всего и представляется мне воистину неисчерпаемой.

МК: Катрин Брюн, автор вашей биографии, говорит о нескольких фактах, оказавших, по ее мнению, наибольшее влияние на ваше творчество: во-первых, то, что вы родились в 1940 году, то есть как раз вскоре после начала Второй мировой войны, во-вторых, перенесенное вами в возрасте семи лет насилие и, наконец, война в Алжире...

ПГ: Ну да, конечно, подобные события, особенно пережитые в детстве и юности, не проходят бесследно, хотя у меня были другие переживания, никак со всем этим не связанные. Например, когда мне исполнилось 11 лет, мне подарили книгу де Виньи «Неволя и величие солдата», которая, безусловно, на меня тоже очень сильно повлияла... Ну а мысль о

рабстве, которая, как я уже сказал, всю жизнь не давала мне покоя, действительно, как-то связана с образом большого сильного мужчины, опутанного тяжелыми цепями. Этот образ навсегда врезался в мою память... Вообще еще в детстве у меня появилось ощущение какогото своего особого предназначения, судьбы... как у святых мучеников. Ведь меня учили, что мученичество и есть настоящий героизм, самое прекрасное, что только есть в этом мире, поскольку в детстве я находился в окружении очень религиозных людей. Так что свою будущую жизнь я представлял себе именно такой: исполненной героического самоотречения и самопожертвования... Хотя одновременно меня завораживали еще и фигуры великих преступников, правда раскаявшихся и искупивших мучениями свои грехи... Что касается войны в Алжире, то, конечно же, она стала своеобразной рамкой для всего моего дальнейшего творчества. Кроме того, эта война позволила мне писать совершенно свободно, без оглядки на окружающих. Представьте себе, что вы сидите в траншее и через секунду вашему товарищу отрывает голову, которая катится на землю, и на нее тут же набрасываются крысы. Что вы после этого будете думать о человечестве? Кстати, я всегда думал, что животные ничуть не хуже людей. Я ведь вырос в деревне, и картины, которые я там видел, тоже очень глубоко запали мне в душу. Например, я помню, как крестьянин бил корову – какое это было ужасное зрелище! Или же образ испражняющейся коровы, выдающей целую гору экскрементов – это тоже меня сильно травмировало, не знаю даже почему...

МК: В ваших книгах, действительно, очень много животных, причем в первую очередь вы описываете сексуальные акты между ними, как, впрочем, между животными и людьми. Вообще, секс в ваших книгах трудно назвать традиционным, даже когда речь идет исключительно о людях...

ПГ: Нет-нет, я вовсе не отношу себя к представителям гомосексуальной культуры. Среди персонажей моего романа «Могила для 500 000 солдат» очень много женщин, женщины также присутствуют в финале романа «Эдем, Эдем, Эдем». Но даже если я и описываю сексуальные отношения между мужчинами – в этом совершенно иной смысл, нежели в чисто

гомосексуальных отношениях. Кроме того, со временем мое творчество сильно изменилось. Й например, в «Потомствах» уже гораздо больше шлюх женского рода, нежели мужского. И обратите внимание, там даже у мальчиков - вагины вместо членов. Вообще, я всегда испытывал двойное влечение. Еще в начале 70-х я написал в своем дневнике: «Красивый мальчик меня возбуждает, но прекрасная женщина производит на меня впечатление, подобное взрыву!» Так что я считаю, что в своих текстах я просто пытаюсь устранить различие между полами, уничтожить понятие пола как такового. Поэтому я не думаю, что меня читают исключительно гомосексуалисты – на самом деле, их читают люди вне зависимости от их сексуальной ориентации. И вообще, меня никогда не привлекали мужчины. Мальчики – другое дело. Однако женщина, девушка всегда оставалась для меня венцом творения, лучшим существом, которое только может быть во вселенной. Я всегда испытывал одновременно преклонение и страх перед женщинами. Мужчины же никогда мне не нравились, скорее, даже отталкивали. Мальчики – точнее юноши – часто казались мне милыми, красивыми, притягивали мое внимание, однако я никогда не мог найти выхода из этой ситуации и не знал, чем это может закончиться.

МК: Трагические события алжирской войны нашли в вашем творчестве в высшей степени оригинальное и необычное выражение. Вряд ли в вашем случае можно сказать, что вы стали выразителем общих настроений очередного искалеченного войной «потерянного поколения», хотя эти настроения, насколько я поняла из ваших слов, вам были совсем не чужды...

Однако первый ваш роман «Эшби» и вовсе напрямую не связан с таким трагическим периодом вашей жизни, как пребывание на алжирской войне, хотя написан почти сразу же после возвращения с нее. Чем можно объяснить этот факт?

ПГ: Я написал пролог к «Эшби» в Алжире, в Большой Кабилии, за несколько дней до моего ареста, в джипе командующего, так как я тогда был его радистом. Командир, – кажется, капитан, – находился в штабе или где-то еще, а я сидел и ждал, зажав винтовку между колен, мы вместе с шофером, моим товарищем (помоему, его звали Милле) дожидались его возвращения, и в это время я писал. Вернувшись в Париж, я написал «Тюрьму» и начал сочинять

статьи по искусству и литературе для нескольких крупных газет, одновременно у меня уже созревал замысел «Могилы» во всем ее эпическом размахе, даже уже были написаны отдельные куски...

Тогда же я реализовал и то, что уже было намечено в Прологе, т. е. роман «Эшби» (под влиянием Бронте, Генри Джеймса, Томаса Харди и пр., которых я много читал еще до Алжира) - это была история страсти, на написание которой меня вдохновили моя тогдашняя чувственная жизнь и некоторые эпизоды детства и отрочества. Там, кстати, было уже и несколько отрывков, описывавших войну в Алжире, которые все тогда отметили. Без всякого сомнения, «Эшби» для меня – это книга компромисса, умиротворения, прощания с тем, что было для меня тогда самым «чистым», самым «нормальным» в моей прошлой жизни, и в том числе, прощанием с традиционной литературой, с очарованием англо-саксонской романтики, с ее тайнами, оторванностью от реальности, изяществом и надуманностью. Но под этой игрой в примирение с тем, что я считал тогда самым лучшим, самым приемлемым из моей прошлой жизни, под этим моим недолгим принятием правил тогдашней литературной среды, и в частности, парижской критики с ее амбициями и навязчивой конъюнктурностью, уже прорастал и готовился выплеснуться наружу мощный бунт «Могилы», подпитывавшийся тем, что уже очень долго таилось во мне, во всем том диком и «взрослом», в чем я не решался признаться даже самому себе, в этой грубой варварской красоте, таившейся в глубине моего прошлого, в книгах, которые я читал, и в совсем ином для меня художественном опыте...

МК: Я знаю, что когда-то вы пробовали себя в качестве журналиста. И высказывали даже некоторое сожаление по поводу пагубного влияния журналистики на литературу, в том смысле, что многие современные писатели сегодня стали писать, как журналисты... Пожалуйста, несколько слов об этом периоде вашей деятельности?

ПГ: В сентябре 1964, после выхода «Эшби», Жан Даниель доверил мне страницы «Культуры» в журнале «Франс-Обсерватер», который через два месяца стал «Нувель Обсерватер»; тогда я прилагал много сил к созданию

новой журналистики (об этом и сегодня свидетельствуют номера журнала того времени), но мои устремления не нашли ни понимания, ни поддержки. Я продержался год. То, с чем я столкнулся тогда, подтвердило самые мои худшие опасения и мое недоверие к этой профессии, хотя до сих пор у меня сохранились интересные и свежие идеи в этой области. Необходимость завершить «Могилу», которая на треть уже была готова, подтолкнула меня уволиться без выходного пособия в июле-августе 1965. После путешествия в Грецию – а эти края очень много значили для меня в детстве, так как я изучал мифологию и даже упражнялся в переводе греческих трагедий - я отправился на шесть месяцев погостить к моему дяде в Бретань и там продолжил и завершил книгу: все, кроме Первой Песни, написанной в начале 1966 года.

МК: Только что вышел первый том ваших «Дневников» – будут ли изданы остальные?

ПГ: Конечно. Ведь я постоянно вел дневники и, думаю, всего будет издано около десяти томов, а может быть, и больше.

СОДЕРЖАНИЕ

Бернан Комман. Предисловие	7
На коне	13
Эшби	91
Маруся Климова. Интервью с Пьером Гийота.	245